

Как слово наше отзовется (Часть 3)

Васильев К. Б.,
издательство «Авалонь», СПб.,
avalon-edit@yandex.ru

Аннотация: Автор развивает тему, начатую в предыдущих частях своего очерка, утверждая, что определённая часть наших высказываний, прозвучавших устно, записанных, напечатанных типографским способом, доходит до слушателей и читателей в неточной форме или в неверном, искажённом, переделанном виде. При публикации возможны сокращения или дописывания сотрудниками издательства, выпуск или переделка слов. В данной части особо обсуждаются сноски и примечания, которые не обязательно выполнены сведущими людьми и могут затемнять, а не объяснять неясные места в тексте. Обращаясь постоянно к «Опытам» Мишеля Монтеня, автор приводит и развивает его мысль о том, что «Глоссы лишь увеличивают сомнения и невежество». Приводится в качестве примера история с редактированием Требника в первой четверти 17-го века, когда вновь привлечённые справщики пытались удалить из богослужебной книги чью-то маргинальную глоссу, по ошибке перенесённую в основной текст. Затрагивается также вопрос об уточнении авторства, ставится под сомнение точность существующих переводов, в том числе классических произведений, таких, как «Опыты» Монтеня.

Ключевые слова: слово, Российская грамматика, Мишель Монтень, Карамзин, ученик и учитель, глоссы, единица речи, слоговое деление, культура речи, ложная этимология, Требник, Арсений Глухой.

1

Когда Фёдор Иванович Тютчев задумывался об отклике на *наше слово* у слушателей и читателей, как оно *отзовется*, в том числе в будущих поколениях, под *словом* он имел в виду не *единицу речи*, такую, как, например, существительное или глагол, он подразумевал высказывания, в коих содержатся наши размышления и суждения, в коих мы выразили своё отношение к тому или иному явлению или человеку, изложили своё понимание событий, дали своё объяснение вечно сущему и на наших глазах происходящему... У поэта Тютчева в данном случае *слово* значит *словесное выражение мысли*.

Мои пояснения покажутся излишними: к чему *разжёвывать* очевидное?

Пожалуй, я вдаюсь в старательные уточнения лично для себя, ибо меня не раз приводили в замешательство и сбивали с толку определения, даваемые *слову* в грамматиках и словарях, как толковых, так и философских, так что, в целом, появилось некоторое недоумение: какое определение считать правильным, более верным, более точным; не говорю о полной точности, ибо в языке далеко не всё раскладывается по полочкам и ящичкам с однозначными указателями. Напомню, что у Михаила Ломоносова в его «Российской грамматике» *слово* означало человеческую речь, и то, что мы привычно называем сейчас частями речи, было у него *частями слова*. И *частей слова*, по подсчёту Ломоносова, в русском языке восемь.

«Слово человеческое имеет осмь частей знаменательных. 1. *Имя*, для названия вещей. 2. *Местоимение*, для сокращения именованый. 3. *Глагол*, для названия деяний. 4.

Причастие, для сокращения, соединением имени и глагола в одно предложение. 5. *Наречие*, для краткого изображения обстоятельств...»

На первый взгляд, даже ребёнку всё понятно, ибо Ломоносов изъясняется просто, гладко, вроде даже ёмко и точно.

Мишель Монтень (1533-1592) признавался: «Я чаще спотыкаюсь на гладком месте» (сравнивая себя с лошадьми, ему знакомыми, которые частенько спотыкаются на ровной дороге: «Je bronche plus volontiers en pays plat, comme certains chevaux que je connois, qui chorent plus souvent en chemin uny»). Такую же неуклюжую черту я заметил у себя, и в данном случае я *спотыкаюсь* на первом же пункте: «Имя — для названия вещей». Есть множество имён, то есть существительных, которые обозначают отвлечённые понятия: истина, добро, зло, правда, ложь, любовь, ненависть. Даже о песке мы не скажем, что это вещь, как и о воде, воздухе, земле, огне... По поводу второго номера в ломоносовском перечне: он считает, что местоимения служат для *сокращения* каких-либо *именований*. Приведите мне показательный пример с каким-либо существительным, чтобы оно, существительное, *сократилось* до какого-либо местоимения, предположим, до *он* или *они*. Скорее, нужно говорить о замещении, а не о сокращении. На мой взгляд, предназначение обсуждаемой части речи звучит в самом её названии: *вместо имени*.

Может быть, Ломоносов под *именованиями* имел в виду только имена собственные, такие, как Михаил, Москва, Колорадо, (братья) Карамазовы, которые можно заменить местоимениями *он*, *она*, *оно*, *они*, но тогда его определение неверно в целом, ибо и нарицательные существительные при необходимости замещаются теми же местоимениями: песок — он, правда — она, зло — оно, нравы — они.

Почему наречия (в пятом пункте), по толкованию Ломоносова, *кратко* изображают обстоятельства? Краткость не есть их отличительное свойство, встречаются и многосложные наречия, например: обоснованно, нелицеприятно, неудовлетворительно. Куда важнее уточнить, что это неизменяемая часть речи, отметить, что наречие указывает, прежде всего, на признак действия, отвечает на вопрос как: быстро, громко, смело, своевременно; на вопрос *когда*: давно, всегда, сейчас...

Ломоносов назвал отдельные главы в своей «Российской грамматике» наставлениями. Нужно, вроде бы, внимать с благоговением и полным доверием к тому, что изрёк великий учёный, нас наставляя, но, вместо того, чтобы скользить дальше по *гладко* и со знанием дела изложенному, я, споткнувшись, усомнился и обратился к современному школьному учебнику русского языка, дабы сравнить: как сейчас толкуется то же местоимение? О нём сегодня сообщают следующее: «Это часть речи, которая указывает на предметы, признаки и количества, но не называет их».

Проговариваю ещё раз (для себя): местоимения указывают, но не называют... Это как понимать? — я снова впал в раздумья и сомнения. Во-первых, за некоторыми местоимениями подразумеваются люди, живые существа, а не предметы. Во-вторых, почему *указывают*, тогда как, повторяю, они *замещают* имена существительные, имена прилагательные...

Монтень считал, что в *хлопотах по хозяйству*: «Ваша зоркость <...> вам только вредит». Он добавлял, что острое зрение *вредит и во многом другом*. Ко *многому другому* отнесу филологические труды (включая прикладные, такие как словари и грамматические справочники). Слишком придирчивый взгляд обнаруживает недостатки, недоработки, изъяны, неточности, расплывчатость, небрежность и какую-то *необязательность* в учебниках и пособиях, в словарях (включая академические), в завершённых исследованиях, и возникает вопрос, а приближаемся ли мы к точности и однозначности, предпринимая новые разыскания, плодя новые научные работы, толковые словари и

языковые пособия? Если согласиться, что точность и однозначность недостижимы, может быть, *остановимся на достигнутом?*

Большинство *носителей языка* в суть грамматических определений не вникают, вообще не обращаются к ним, не имея в том надобности, особенно на бытовом уровне; мы не помним часть или все правила и определения, хотя в школе требовалось их заучивать и *повторять*. Люди говорят и пишут каждодневно в течение всей жизни, они вполне справляются с высказыванием своих мыслей, они способны вести долгие разговоры (в том числе по телефону) даже при полном незнании грамматики и при небольшом запасе слов. Есть краснобаи, одарённые природой (краснобай заговорит, всех слушателей переморит), есть прирождённые ораторы, способные на долгие речи *не по бумажке*, есть личности, которые очень бойко оперируют ограниченным словарным запасом, часть которого подпадает под определение *обценная лексика*, и при этом, опять же, никто перед произнесением следующей фразы не задумывается над её структурой: в предложении должны быть подлежащее, сказуемое, дополнения, прямые и косвенные, следует связать их союзами и предлогами... Но каково бедным школьникам, они-то, выслушав в классе объяснения учителя-словесника, получают домашнее задание, и дома должны заучивать по учебнику очередные правила со всеми сопутствующими исключениями и и примерами употребления, — зазубривая то, что им мало понятно (кое-что и совсем непонятно), и что никогда им не пригодится в жизни.

Во времена Ломоносова население не было охвачено обязательным поголовным образованием; в церковно-приходских школах небольшое количество отроков обучалось грамоте и счёту. Боюсь прослыть врагом просвещения, но всё же произнесу: тех немногочисленных школяров не слишком долго *мучили*, год, от силы два года, обеспечивая им запас знаний по простенькому букварю. Количество тех, кто получил начальное образование, с их умением писать и считать, было достаточно для повседневных нужд городских и сельских низов. Если говорить о дворянах, не о простолюдинах, даже те, кого мы называем сегодня образованнейшими людьми или даже просветителями, не тратили слишком много времени, скажем так, на *приобретение знаний* в стенах какого-либо официального учебного заведения.

Вспомним Н. М. Карамзина: прославленный историк, литератор и *реформатор русского языка* родился в 1766 году, первоначальное образование он получил в каком-то частном пансионе в Симбирске. В 1778 году (в двенадцать лет) его отправили в Москву в пансион профессора И. М. Шадена. Пишут, что он «Одновременно посещал в 1781-1782 годах лекции И. Г. Шварца в Университете...» Приводимые даты нельзя считать точными. Нет также полной уверенности, какие предметы изучал Карамзин в названных пансионах, какова была (говоря современным языком) его успеваемость, получил ли он (что так важно по сегодняшним меркам), аттестат, диплом, документ о *законченном образовании*. Если обратиться не к современным публикациям, а к статье К. Н. Бестужева-Рюмина (1829-1897) в «Русском биографическом словаре», мы узнаём, что в Москву будущий историк был отправлен *после 1776 года* (а не в 1778 году). «Отец <...> отдал сына в Симбирск в пансион Фовеля, где он учился по-французски <...>. В Симбирске Карамзин пробыл недолго и был <...> отвезён в Москву и отдан в пансион профессора Шадена. Это случилось после 1776 года <...>. Из пансиона Карамзин вынес уважение к славному тогда немецкому моралисту Геллерту: по лекциям Геллерта Шаден преподавал нравоучение (этику) своим воспитанникам. В автобиографической записке Карамзина для митр. Евгения говорится, что он посещал в это время университетские лекции, но к сожалению неизвестно какие; впрочем Дмитриев свидетельствует, что они с Петровым слушали Шварца. По обычаю того времени Карамзин с колыбели был записан в военную службу, и потом по окончании курса в пансионе в 1781 году явился в Преображенский полк и

получил годовой отпуск; тогда, быть может, он и слушал лекции Шварца в Москве. В 1782 году он поступил на действительную службу...»

Если я правильно посчитал, прерывистая учёба Карамзина закончилась, когда ему было шестнадцать лет.

Карамзин, по словам Бестужева-Рюмина, вынес из пансиона, принадлежавшего И. М. Шадену, уважение к моралисту Геллерту, и, быть может, он ходил (по своему почину, исходя из личного желания) на неизвестно какие университетские лекции. Представим, что уважаемый Николай Михайлович в свои шестнадцать лет оказался в нашем времени и решил *поступить на службу*; его не примут на работу ни в какое учреждение, ибо он слишком молод, и, главное, у него на руках не имеется документа *установленного образца*, который при современном общественном устройстве удостоверяет, что такой-то гражданин — имя, отчество, фамилия, год рождения — в такие-то сроки получил *среднее полное общее образование* (следуют подписи должностных лиц, скреплённые печатью). Если бы Карамзин пожелал *пойти в историки*, ему потребовалось бы пятилетнее обучение в университете.

2

Я ни в коем случае не собираюсь впадать в умиление и повторять сказки о том, будто в былые годы, в *доброе старое время*, например, в частных пансионах при Екатерине Великой или в Царскосельском лицее при Александре Благословенном, учили лучше, педагоги были сильнее, и все дворянские дети поголовно получали *блестящее образование*. В пансионах, лицеях и университетах много времени и усилий тратилось на воспитание, которое сводилось к занудливым внушениям с зачитыванием строк и выдержек из известных *моралистов*, скучающим пансионерам и лицеистам растолковывали, со ссылками на Священное писание, *что такое хорошо, и что такое плохо*. (Впрочем, при явных проявлениях *неблаговразия* устные назидания отставлялись, и провинившихся пороли розгами). При домашнем образовании нанятый родителями учитель или иностранный гувернёр мог, конечно, быть человеком занудливым, но у него не было особой необходимости докучать отрока *моралью строгой* (вспоминаю слова А. С. Пушкин по отношению к французскому аббату, который не мучил особо дитяню Евгения науками и нотациями), и вообще домашняя обстановка не располагает к многочасовому прению над учебниками. Иное дело официальные учебные заведения с программой из определённого обязательного количества предметов и с прилежным посещением всех без исключения уроков. Не будем говорить о математике с геометрией, где нет расплывчатости, и преподаватель не впадает в околичности и отвлечённые рассуждения, а что касается гуманитарного образования, в его основе всегда было зазубривание *отвлечённостей*, и неистребимая склонность *захламосить* русские умы *чужеземным навозом*, как сказал бы Николай Васильевич Гоголь (правда, съязвив подобным образом, он по прошествии времени мог предаться оправданиям и объяснениям: его, мол, поняли не совсем правильно, не в том смысле, в каком он выразился, и он имел в виду не совсем то, что вышло из-под пера). Но чрезмерное увлечение иностранными мудростями, на мой взгляд, имело место. На протяжении столетий русские педагоги перетолковывали учащимся историю и законы древних иудеев, почерпнутые из Библии (в её церковнославянском переводе, весьма трудном для понимания); в определённый период они, не отставляя закон Божий, советовали (открыто или закулисно) своим подопечным обращаться со своими вопросами к Вольтеру и Руссо, которые дали объяснения всему свету про всё на свете; юношей карамзинского поколения учили по сентенциям моралиста Христиана Геллерта вкупе с физиогномистом Иоганном Лафатером; в советский период педагогические усилия в государственном масштабе прилагались к настойчивому

утверждению в умах *единственно верного учения*, то есть марксизма, которым советское общество вооружилось, похерив с ненавистью Яхве с его заповедями и Христа с его проповедями, так что школьников и студентов (включая меня в 1960-е и 70-е годы) принуждали слушать на уроках и лекциях, читать в учебниках, записывать и заучивать умствования, исходящие от двух немецких *социальных мечтателей*, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в переработке В. И. Ленина, который, их учение *развив и обогатив*, долгими материалистическими рассуждениями обосновывал построение утопического бесклассового государства. Сегодня, как я понимаю, не имея, всё так же не обнаружив пророков в своём отечестве, мы опять обратились к *чужеземному навозу*; нынешняя власть в государственных учебных заведениях (и, в целом, в нашем обществе) опять стала *воспитывать духовность* по предписаниям, изложенным в древнеиудейских летописях, на *свято место*, которое, как известно, пусто не бывает, убрав бюсты коммунистических вождей, вернули Яхве, и вместо цитат из Маркса с Энгельсом сегодняшние *моралисты* усиленно и с умилением приводят путеводные речения из Нового завета, подкрепляя их толкованиями от иноплеменных *златоустых* христианских святителей.

3

Мы узнали от Бестужева-Рюмина, что в своём пансионе (рассчитанном всего на восемь человек) профессор Иоганн Матиас Шаден (1731-1797) преподавал своим воспитанникам нравоучение (этику) — по лекциям Геллерта; добавим к этому свидетельство самого Карамзина, что Шаден действовал «не только доказательствами разума, но и побуждениями сердца, голосом внутреннего чувства и совести, примерами и картинами», — теперь я повторяю то, что было напечатано в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (в 39-м томе, вышедшем в 1903 году). Из этой же статьи в ЭСБЕ явствует, что Шаден опирался в своей педагогической деятельности не только на немецкого моралиста Геллерта, *славного*, то есть известного в те годы; в Московском университете он преподавал «Риторику <...> на основании руководства Фоссия, а в философии руководился взглядами Вольфа и Баумейстера». Возглавив кафедру практической философии, он читал её «вместе с этикой до 1796 года по Винклеру, Эрнести, Федеру и Якобу; кроме того, он читал на юридическом факультете народное право, политику, право естественное, всеобщее государственное право по Баттелю, Бильфельду, Ахенвалю...»

Моё внимание привлекло замечание А. К. Бороздина (1863-1918), написавшего статью о Шаде для Энциклопедического словаря, о *сентиментальном пиетизме*: в речах профессора (кстати, написанных и произносимых на латыни, так что возникает вопрос, в какой мере они были понятны учащимся) «обнаруживается высокогуманное настроение, видна большая его эрудиция, хотя местами их недостатком следует признать какой-то сентиментальный пиетизм».

Добавлю, что Шаден считал основой воспитания веру в Бога, рассуждал пространно об *общем благе*, стремление к которому вытекает из той же веры, и общее благо является целью жизни каждой человеческой особи. Шаден в своём *сентиментальном пиетизме* называл гимназии и университеты *святыми местами наук*, и отроки и недоросли, учившиеся в оных, должны быть одарены *честностью и добронравием, любовью к истине и отечеству*, им полагается *пылать любовью к государю* и хранить *истинную честь*.

Побуждения сердца, голос внутреннего чувства, высокогуманные настроения, долг, совесть, общее благо, истинная честь, вера в Бога (в форме *единственно верного* православия), обязательный закон Божий в учебных заведениях (включая одногодовые церковно-приходские школы), любовь к царю и отечеству, присяга, в том числе в армии,

даваемая *нерушимо* на верность монарху... Всё перечисленное, усиленно обсуждаемое, насаждаемое и *свято соблюдаемое*, не спасло Россию от полного краха государственности в 1917 году, и возникает подозрение, что прочность и живучесть страны зависят вовсе не от упомянутых чувств и обрядов. Хотя с дореволюционным прошлым у нас было *покончено навсегда*, хотя *мир насилия* был разрушен, местами, действительно, *до основания*, при социализме в начальной, средней и высшей школе, как ни удивительно, из детей *делали настоящих советских людей* по схожим установкам, прибегая к таким же методам, с тем же *высокогуманным настроением*. Вместо безусловной веры в Яхве насаждалась безусловная вера в Маркса и Ленина, их труды заключали в себе *истинную правду*, ранее принадлежавшую Священному писанию; каждый школьник считался не просто человеком, а будущим *строителем коммунизма*, он должен был *пылать любовью* к коммунистическим руководителям и к *родной* Коммунистической партии; много говорилось о чести и совести, о честности и добронравии, с той только разницей, что не со ссылкой на заповеди Моисея, а с отсылкой к «Моральному кодексу строителя коммунизма», висевшему в коридоре нашей школы (и, быть может, в стенах каждой школы в Советском Союзе); отечество стали называть социалистической Родиной, первостепенность *общего блага* утверждалась, например, в памятной песне: «Думай прежде о Родине, а потом о себе!» — и от каждого требовалось *отдать все силы* делу построения коммунизма, а то и умереть в борьбе за осуществление этой *вековечной мечты всего человечества*... Коммунизм мы не построили, ибо затеянное предприятие было сродни возведению Вавилонской башни с целью забраться повыше на небо; Советский Союз развалился по швам, по границам, которые начертили большевистские вожди для *братских союзных республик* на основе *мудрой ленинской национальной политики*, и после развала определённая (похоже, что значительная) часть населения поспешила покинуть Родину... Не берусь судить, ради какого будущего кинулись русские люди в чужие палестины, но, мне кажется, многим хотелось, не задумываясь о будущем, поскорее избавиться от прошлого, от тех лет, когда ты не смел идти своей дорогой и жить своим умом, когда труд был рабским, но назывался свободным, когда, наподобие попугаев, мы должны были повторять насвистанные нам лозунги, быть винтиками в машине, отрёкшись от своей воли... Если не винтиками, то гвоздями: «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей!» Сравнение людей, с готовностью погибающих за Революцию, за Светлое будущее всего человечества, за *родную* большевистскую партию, с безликими, бессловесными штампованными гвоздями пришло на ум советскому поэту Н. С. Тихонову — не В. В. Маяковскому, как некоторые считают, у Маяковского есть наставление: «Тело к борьбе крепи!» (в «Марше комсомольца»), а совет закаляться, как сталь, давался советским юношам и девушкам в «Спортивном марше», где музыка И. Дунаевского, к кипучей деятельности побуждающая, органически сочеталась со словами В. Лебедева-Кумача, на подвиги зовущими:

Чтобы тело и душа были молоды,
 Были молоды, были молоды,
 Ты не бойся ни жары и ни холода,
 Закаляйся, как сталь!

Сие заказное поэтически-музыкальное произведение, одним своим звучанием доказывающее, что жить у нас хорошо, жить у нас весело (о чём вся страна узнала от И. В. Сталина в 1935 году), было создано для кинофильма «Вратарь», вышедшего на экран в начале 1937 года, в период политических чисток, бессудных приговоров и долголетних ссылок, так что, предсказуемо, в ней поётся (с нотным обозначением *очень бодро*) и о готовности *бить врагов*.

Физкульт-ура! Ура! Ура! Будь готов!
Когда настанет час бить врагов,
От всех границ ты их отбивай!
Левый край, правый край, не зевай!

А вот про рабов свободного труда, про однозвучных попугаев, про запрет идти своей дорогой и жить своим умом было написано ещё в 1860 году. Пётр Андреевич Вяземский (1792-1878) высказал обвинения в *двояком суде и давлении опалой*, как ни странно, не в адрес царских властей в целом, не в адрес жандармов или цензуры, его резкий выпад направлен против тех своих современников, которых мы знаем по учёбе в школе и университете, по многочисленным историческим произведениям, сработанным по шаблону в советские годы, как *революционных демократов*. Думаю, что, пребывая в сильном раздражении от деятельности всяческих *пропагандистов и агитаторов*, таких, как Буташевич-Петрашевский, от обличительных и разоблачительных писаний Чернышевского, Добролюбова, Герцена и Огарёва, от *свободолюбивых* стенаний Некрасова (жившего в сытости, уюте, тепле, тратившего деньги на карты, и в то же время безмерно печалующегося о народе — использую выражение Александра Блока), раздражённый напористой говорливостью современных ему *коноводо свободной мысли*, поклоняющихся Белинскому, памяти Белинского, и на него, Вяземского, взирающих с пренебрежением, уязвлённый Пётр Андреевич, на мой взгляд, перегнул; деспотом восточного типа можно смело окрестить Ивана Грозного, Петра Первого, Иосифа Сталина, а названные и неназванные *революционные демократы* в кровопролитиях и сами не участвовали, и на казнь никого не посылали; если они и вынашивали пустить кой-кому кровь, так ведь не народу, а его притеснителям, если и собирались приносить кого-то в жертву, так ведь на *алтарь свободы*, если и призывали к бунту, то как бы бескровному, как, вспомним, Некрасов вопрошал иносказательно, с видом сеятеля, который взирает с надеждой на горизонт в ожидании дождя для выращивания урожая: «Буря бы грянула, что ли?» — накликающая бурю с призывом всего ли для того, чтобы *расплескать чашу народного горя*.

Вяземский не рядился в предсказатели, не пророчествовал о последних временах и будущей скорби для России (и он не поверил бы рассказам о *народной* власти, установившейся после 1917 года), но, читая его строки, сегодняшний любитель поэзии (не знающий, не вникающий, что раздражение автора направлено против, по его выражению, *Белинских, Некрасова с компанией*) изумляется: Пётр Андреевич как будто даром предвидения обладал, он же описал в деталях наш коммунистический строй, нашу советскую действительность!

Свободных мыслей коноводы
Восточным деспотам сродни.

У них два веса, два мерила,
Двоякий взгляд, двоякий суд:
Себе даётся власть и сила,
Своих наверх, других под спуд.

У них на всё есть лозунг строгой
Под либеральным их клеймом:
Не смей идти своей дорогой,
Не смей ты жить своим умом.

Когда кого они прославят,
Пред тем — колена преклони.
Кого они опалой давят,
Того и ты за них лягни.

Свобода, правда, сахар сладкий,
Но от плантаторов беда;
Куда как тяжки их порядки
Рабам свободного труда!

Свобода — превращеньем роли —
На их условном языке
Есть отречение личной воли,
Чтоб быть винтом в паровике;

Быть попугаем однозвучным,
Который, весь оторопев,
Твердит с усердием докучным
Ему насвистанный напев.

Не смей идти своей дорогой, не смей ты жить своим умом... Нет, это, ей-богу, словно не в 1860 году написано, и не Вяземским, а смелым литератором советского периода: от всех нас требовали быть *винтиками в паровике*, от наших *деятелей культуры* ждали усердного перепева того, что им насвистали партийные идеологи.

4

Возвращаясь к учёбе (к *процессу овладения знаниями*, как выражаются педагогические теоретики и чиновники, занятые в *учебно-методическом обеспечении* означенного процесса), напомним древнюю истину, что в учёбе на первом месте стоит ученик, а не учитель, и примером служат пытливый Николай Карамзин и занудливый схоласт Иоганн Шаден...

Здесь я собирался процитировать с умным видом Платона, ибо в своё время я обнаружил в английских источниках, взял на заметку и выписал для будущего использования следующее высказывание: «All learning is in the learner not in the teacher» — со ссылкой на платоновского «Федона». Теперь я отыскал для перепроверки полный английский перевод, просмотрел его, но означенной *аксиомы* не обнаружил. В «Федоне» много рассуждений о знании, суть которых, если я правильно понял, в том, что «Our learning is nothing but recollection». Этого я никак не принимаю, это, на мой взгляд, совершенное витание в вымышленных мирах, будто образованность — восстановление знаний, которыми человек обладал в предыдущем существовании, и эти знания принадлежат душе, которая существовала до того, как вошла в твоё тело.

Подобное, я уверен, происходит не только со мной: имея своё представление о том или ином предмете, мы подвёрстываем к нему те высказывания известных мыслителей, которые служат, как нам представляется, несомненным доказательством нашей правоты. В моём случае при проверке обнаружилось, что утверждение о главенстве ученика в приобретении знаний исходит от неизвестной личности, высказавшей своими словами своё понимание Платона или просто приписавшей (для вящей значимости) сентенцию об ученике и учителе древнегреческому философу, тому, чьё имя раньше других пришло на ум. Могло случиться, что кто-то просто что-то перепутал. На памяти всего трёх-четырёх

поколений «Балладу о гвоздях», сочинённую Тихоновым, приписали другому поэту, Маяковскому, его же, Маяковского, кое-то называет автором следующей грозной тирады Александра Блока в адрес русских буржуев:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

Я не считаю нужным всё время называть, откуда, из какого источника взяты те или иные строки, утверждения, заявления... Но, поскольку от авторов таких статей, как моя, всё же требуют указывать источники, не отделяясь туманными *кое-то, некоторые, некто*, я воспроизвожу буквально, в кавычках, то, что напечатано в книге М. С. Пазина «Страсти по власти» (Петербург, 2012): «После 1917 года и особенно в 1920-х годах идея мировой революции была чрезвычайно популярна у большевиков. Они хотели осчастливить всё человечество: *Железной рукой загоним человечество к счастью!* Были в ходу такие стихи Маяковского: *Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...* Подобных же им стихов и песен было не счесть».

Ничего страшного, мир от подобных *приписок* не рухнет; подобная путаница — то ли Бабель сказал, то ли Бебель, то ли Гоголь сочинил, то ли Гегель — имеет такую же давнюю историю, как письменность. Если я не ошибаюсь, Пифагор не доверял свои мысли бумаге, и до нас они дошли в пересказе, например, через Аристотеля; философ Филолай (родом то ли из Кротона, то ли из иного города), *обнародовавший* пифагорейское учение, быть может, приписал Пифагору часть своих рассуждений... Я вспоминаю вроде как шутовское замечание Александра Пушкина о судьбе авторских произведений: в письме к Василию Андреевичу Жуковскому из Михайловского, в апреле 1825 года, *победитель ученик* хвалит (может быть, только из вежливости) новые стихи *побеждённого учителя*, но предсказывает: «Знаешь, что выйдет? После твоей смерти всё это напечатают с ошибками и с приобщением стихов Кюхельбекера».

Так что, приступая к обсуждению того, как *отзываются* в современных и последующих поколениях какие-либо рассуждения, постулаты или целые учения, мы не можем быть вполне уверены, кому они принадлежат, кто именно сказал *слово*, Пифагор или его последователь Филолай из Кротона; авторы вроде меня склонны украшать свои суждения лапидарными поэтическими строчками, и здесь тоже есть опасность перепутать, то ли они Жуковскому принадлежат, то ли Кюхельбекеру, то ли Александр Блок грозил всем *буржуям*, обещая им на горе раздуть мировой пожар, то ли Владимир Маяковский. Пока что мы уверены: это Блок в своей поэме «Двенадцать» призывал *пальнуть в Святую Русь*:

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, винтовку держи, не трус!
Пальнём-ка пулей в Святую Русь...

Революционные выкрики Блока разительно отличаются от основного творчества, проникнутого, как мы знаем, символизмом, особенно от томительных вздохов по Прекрасной даме, так что, вполне возможно, по прошествии ещё одного-двух столетий (может быть, и раньше) его призыв *пальнуть* в Святую Русь припишут тому же Владимиру Маяковскому, ибо тот неоднократно, громогласно, как никто другой ненавидел *буржуев*: «День твой последний приходит, буржуй!» — он с жаром

приветствовал революцию и призывал к уничтожению, разрушению и забвению всего, связанного с *проклятым прошлым*, включая культурные ценности, *старьё*, именуемое *искусством*, о чём *горлан-главарь* без обиняков заявил в 1918 году в стихотворении «Радоваться рано»:

Время
пулям
по стенке музеев тенькать. <...>
Выстроили пушки по опушке,
глухи к белогвардейской ласке.
А почему
не атакован Пушкин?
А прочие
генералы классики?

5

Мне пришлось отказаться от ссылки на Платона: может быть, он такого не говорил и был далёк от мысли, что «All learning is in the learner not in the teacher». Да, Жуковский имел смелость признать, что он, *учитель*, оказался побеждённым в поэтическом соревновании учеником, Александром Пушкиным, но в большинстве случаев, применительно к учёбе, к усвоению знаний, утверждается, что роль учителя важнее. Вспоминается, кстати: в Евангелии от Луки говорится, что тот, кто учится, в лучшем случае, сравнивается с наставником, но не превзойдёт его: «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его (Лука 6:40)». Впрочем, здесь, скорее, идёт речь не об умственных способностях и не о таланте, благодаря которым учащийся может превзойти учителей и шагнуть дальше того, чему учат в средней и высшей школе; здесь Иисус Христос требует не от всех, а непосредственно от своих апостолов, чтобы те внимали его словам, усваивали услышанное, делали всё по его примеру: «Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его (Матф 10:25)».

Буду излагать дальше, не прибегая к *чужому уму*, а исходя из собственной учёбы в средней и высшей школе, из педагогического опыта, приобретённого в некоторых ленинградских высших учебных заведениях, где я преподавал английский язык; главное, на мой взгляд, состоит в том, что искренние усилия целого коллектива одарённых педагогов тратятся напрасно, ежели им достался ученик тупой от рождения, *умственно отсталый*; обязательное образование сводится к тому, чтобы дотянуть массу *среднячков* до последнего класса, до выпускных экзаменов в последнем классе, поставить их хоть какие оценки (вздыхнув: с плеч долой!) и выдать им аттестат, сознавая, что эти *среднячки* не усвоили и половины того, что преподаватели пытались (насильно) втиснуть им в головы...

Карамзин принадлежал к тем, кто, как говорится, сам тянется к знаниям (показательным предшественником был Ломоносов). Какова роль его учителей? Если бы Карамзин добросовестно усваивал всё, чему наставлял Шаден, если бы он не просто записывал, а запоминал, механически затверживал, если бы он верил в истинность всего, услышанного от немецкого профессора, он бы остался малоизвестным или безызвестным выпускником его пансиона, почитателем Геллерта и поклонником Лафатера (которого в двадцатилетнем возрасте он называл восторженно *великим мужем*). Полагаясь в своём миропонимании всецело на постулаты Фоссия, Вольфа, Баумейстера и прочих упомянутых *славных и великих мужей*, он не сказал бы своего слова. Карамзин за

короткое время учёбы убедился в существовании громадной зарубежной учёности; в «Письмах русского путешественника» мы находим его восхищённые отзывы о западноевропейских мыслителях, чей авторитет утвердился в среде определённого круга русских дворян, жаждущих просвещения вроде как для *блага всего народа*, и для достижения означенного блага, по их разумению, нужно было перевести поскорее на русский язык и напечатать в типографии Московского университета как много больше, желательно всё, сочинённое европейскими гуманистами и моралистами. По тем же «Письмам» видно, однако, что лекции профессора Шадена (вкуче с его моральными наставлениями) и влияние московских *просветителей* во главе с Н. И. Новиковым (1744-1818) не заглушили в Карамзине способность рассуждать самостоятельно, исходя из того, что он видит своими глазами; путешествуя по Европе, он во всех странах и городах приглядывался к государственному устройству и местному управлению, к нравам, обычаям, верованиям и суевериям, и, полагаясь на своё разумение, он пришёл к своим собственным умозаключениям, не совпадающим с тем, что утверждали признанные авторитеты вроде Вольтера и Руссо в своих пространных писаниях о человеке, обществе, государственном устройстве, подчас рассуждающие пространно о том, чего в человеческой природе нет и быть не может. Тем самым уже в молодые годы Карамзин поднялся на голову выше современников, тоже посещавших какой-нибудь пансион или даже Московский университет, но живущих заёмной мудростью, — *присвоивших себе чужой ум*, как выразился А. С. Пушкин, описывая временное увлечение Евгения Онегина, взявшегося со скуки за чтение *умных книг*:

И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.

Как я понимаю, Пушкин сообщает о собственном детско-юношеском опыте, вспоминая книги, которые попались ему под руку в домашней библиотеке, где был добровольный выбор, которые подлежали прочтению в Царскосельском лицее, где выбирать не приходилось: в иных произведениях обман, в других бред; авторы кто в религиозных, кто в политических веригах, иные ещё с шорами на глазах; есть такое, что скучно читать. Согласимся: многие писания, включая те, что причислены к классическим, безумно скучны, написаны пресным или канцелярским языком, наполнены занудными рассуждениями о том, как важны *честность, добронравие, любовь к истине*, и, если в них присутствуют крупинки чего-то здорового, если и есть некие открытия, приходится перелопатить тонны словесного мусора (*тысячи тонн словесной руды*, как сказал бы поэт Владимир Маяковский), пока вы до крупниц доберётесь.

6

Отсутствие аттестата во времена Карамзина не было препятствием для поступления на работу, для продвижения по служебной лестнице на том или ином

поприще. Об уме и умениях человека судили по личному общению с ним, способности проверяли в деле, а не по оценкам в аттестате (которые могут быть сильно завышены по самым разным причинам, начиная с подхалимства перед высокопоставленными родителями того или иного отпрыска, за которыми, как я уже говорил, усматривается государственная политика обеспечивать всех поголовно свидетельствами об образовании).

Опять же, не стоит рисовать радужные картинки, будто до введения обязательного школьного обучения каждый, обладающий природными способностями, обязательно получал одобрение начальства, продвижение по службе, общественное признание. Общество обращало внимание, прежде всего, на принадлежность к тому или иному старинному дворянскому роду и на богатство, значимость человека была пропорциональна количеству имеющихся у него крепостных душ, и оно, общество, готово было принимать, соглашаться с присутствием и даже терпеть выходки совсем необразованной личности только потому, что она, личность, является богатым аристократом. Потом, в каких-то кругах не имело значения (как и сейчас не имеет), сколько предметов вы осилили в школе или университете, с трудами каких моралистов, гуманистов и философов знакомились, к вам проникнутся благосклонностью, похвалят: а он умён! — ежели вы одеты и подстрижены по последней моде, умеете непринуждённо кланяться и ловко танцевать танец, всем полюбившийся в нынешнем сезоне. Мы вспоминаем сейчас пушкинского Онегина, который:

<...> по-французски совершенно
 Мог изъясняться и писал;
 Легко мазурку танцевал
 И кланялся непринужденно;
 Чего ж вам больше? Свет решил,
 Что он умён и очень мил.

Манерам, умению кланяться и танцевать отпрыск учился у своих благородных родителей, он приобретал навыки приличного поведения по наблюдению за гостями на светских приёмах и балах, пусть даже провинциальных, что-то приобреталось во время *домашнего воспитания* от нанятого учителя. Выделю из прозвучавшего перечня тех *знаний*, которыми блистал Евгений Онегин, совершенное владение иностранным языком. Отроки и отроковицы осваивали французский по самой продуктивной методе: они перенимали на слух то, что говорил им какой-нибудь *французик из Бордо*, они имели каждодневную бытовую практику с ним и с родителями, в своё время натаскавшимися, прошу прощения, по-французски с какой-нибудь *madame* или каким-нибудь *monsieur*, пусть даже *убогим*; при этом гувернантка или гувернёр имели смутное представление или вообще не имели понятия о *грамматической структуре* своего языка, в общении с подопечными барчатами они не отвлекались на теоретические объяснения: сколько частей речи во французском, какие в нём склонения, спряжения, они обходились без морфологического разбора слов и синтаксического разбора предложений. Тем, кто сам *тянулся к знаниям*, хорошее владение иностранным языком позволяло знакомиться напрямую с тем, что писали, например, те же Руссо и Вольтер, в подлиннике, а не в переводах, которые никогда не соответствуют в полной мере оригиналам.

Может быть, я ошибаюсь, но даже в таких прославленных учебных заведениях, как Царскосельский лицей, во главу угла не ставилось *повышение успеваемости*. В моё школьное время то и дело звучало, что *троечники* должны приложить максимум усилий и подтянуться, дабы стать *хорошистами*, от *хорошистов* требовали больше уделять внимания учёбе, дабы выбиться в *отличники*. Помню, что где-то во втором или третьем

классе одного мальчика, мирного, незлобивого, даже не ленивого, но туповатенького, даже *оставили* на второй год за *плохую успеваемость*, попросту говоря, за двойки почти по всем предметам, за исключением разве что труда и физкультуры — и эта нелепость — оставлять на второй год в том же классе — была научно обоснована какими-то педагогическими светилами: мол, ребёнок со второго захода, вернувшись к тому, что он уже проходил, добьётся лучших результатов, усвоит материал, который с первого захода ему не давался, *повысит свою успеваемость*... Несколько повторяясь, скажу, что и сегодня в средней школе, где обучение (не стану рифмовать с *мучением*) растянута на целых десять лет, большинство составляют обычные дети со средними умственными способностями, а им навязывают (помимо других сложностей) подробный морфологический разбор слов и синтаксический разбор предложений, их принуждают заучивать не всегда точно сформулированные правила и определения, им, помимо прочих *отвлечённостей*, морочат голову учением о морфеме, *мельчайшей значимой единице языка*, рассказывая туманно и бездоказательно, чем морфема отличается от морфа, и единственный выход для нынешнего школяра — просто зазубривать и зазубривать, дабы при опросе, в проверочной работе и особенно на выпускном экзамене по русскому языку *дать правильные ответы* и получить удовлетворительную оценку, столь необходимую для получения аттестата, обязательного в наше время. Ради социального равенства, точнее, ради видимости, что социальное равенство осуществляется, каждый член общества обеспечивается документом, подтверждающим, что ему отмерено знаний столько же, сколько всем, и по образованию он *не хуже других*.

Может быть, так и надо, наверно, в этом состоит *великая сермяжная правда*: человек устремляется к звёздам, но путь усеян терниями, через которые приходится продирается. До звёзд дотягиваются единицы, и не благодаря документу об образовании, а тернии на пути, в случае с народным образованием, не природные, а искусственно созданные трудности, насаженные и взращённые колючки и бурьян.

7

В восьмом пункте своего перечня Ломоносов замечательно объяснял, что такое междометие: «*Междуметие*, для краткого изъявления движений духа».

По мнению Ломоносова, *частей слова* было восемь. А теперь их двенадцать! — я не считал, я повторяю утверждение современных светил языкознания, переданное в министерство образования для последующего внедрения в школьную программу для нашими детьми усвоения и запоминания... Для наших детей, вернее, более глубокого знакомства с родной речью и правильным его, то есть её употреблением. Короче, с благородной целью *повысить уровень образования*.

Девять из двенадцати частей речи по нынешней классификации называются самостоятельными, три — служебными (предлог, союз и частица). Из чего напрашивается вывод, совершенно неверный, будто русский язык изменился со времён Ломоносова в сторону сильного усложнения грамматики. В языкознании увеличилось, как и в других гуманитарных отраслях, число дипломированных специалистов, *забивающих себе голову отвлечённостями*, как писал Мишель Монтень в опыте «О суетности» (*De la Vanité*). Утверждая, что занимаются наукой, специалисты во всех гуманитарных областях придумывают всё новые отвлечённости, дабы доказать свою полезность и продемонстрировать, что в их отрасли наука *не стоит на месте*.

В наши дни междометия не считаются частью речи, кто-то решил выделить их в особый лексико-грамматический класс неизменяемых слов. И теперь это не *изъявления движений духа*, как выразился Ломоносов, но *эмоциональные и эмоционально-волевые*

реакции на окружающую действительность. Прямо-таки замена субъективно-идеалистического подхода на объективно-материалистический!

8

Я выписал слова Монтеня о спотыкании на гладком месте из главы «Об опыте» и увлёкся невольно его рассуждениями о толкованиях и толкователях: «Глоссы лишь увеличивают сомнения и невежество...» Любопытно, разве нет: автор как будто выступает против текстологии, да и, в целом, против издательско-редакторской работы с привлечением специалистов для подготовки в печать литературных, исторических, философских, богословских произведений, снабжённых примечаниями. Следующее суждение французского мыслителя кажется ещё более *антинаучным*: «Никакие толкования не облегчили понимания ни одной написанной человеком или боговдохновенной книги».

Напрашивается возражение: издательские или редакторские сноски вкупе с примечаниями от видных литературоведов объясняют нам устаревшие слова и речевые обороты, они помогают вникнуть в суть того, что происходит, например, в романах «Евгений Онегин», «Война и мир», «Преступление и наказание», а уж если это старинные летописи или церковнославянская Библия, там чуть ли не к каждому второму слову желательно иметь пояснения... Подумав, особенно с учётом своего опыта редакторской работы, я всё же соглашаюсь с утверждением Монтеня, ибо не все объяснения в сносках точны и безошибочны, в каком-то месте они что-то проясняют, в другом месте они вводят в заблуждение. Литературоведы, как и все остальные люди, отличаются один от другого характером и складом ума, что предопределяет различие подходов и мнений, они судят предвзято, их оценки и определения подчас грешат настойчивыми натяжками в сторону одной идеи, заполонившей сознание: бывает, как мы читали у Ф. М. Достоевского в романе «Бесы», что не человек усвоил, *съел* идею, а *идея съела человека*, и самым показательным примером, по-моему, являются русские социал-демократы, прямо-таки заразившиеся марксизмом — он привёл их к умственному помешательству.

Хочу уточнить, что *глоссы*, о которых сказал Монтень, я понимаю как *примечания*; сверившись на всякий случай с французскими справочниками, я прочитал: «Une glose est un commentaire linguistique ajouté dans les marges ou entre les lignes d'un texte ou d'un livre, pour expliquer un mot étranger ou dialectal, un terme rare», то есть это филологический комментарий, добавленный на полях или между строк текста или книги, для объяснения иностранного или диалектного слова. Есть даже дополнительное замечание, что термин *глосса* (glose) относится к объяснению, а не к объясняемому слову: «Actuellement, glose renvoie à l'explication et non au mot à gloser».

Для чего я расходуясь сейчас на уточнение вроде как очевидного, ведь и в русских словарях такое же объяснение? Дело в том, что, обратившись к Википедии, по быстроте доступа оттеснившей печатные издания, мы узнаём, что глосса, прежде всего, само объясняемое слово:

«Глѳсса (др.-греч. γλѳσσα язык; речь) — иноязычное или непонятное слово в тексте книги с толкованием, помещённым либо над самим словом, либо под ним (интерлинейарная глосса), либо рядом на полях (маргинальная глосса)».

Здесь идёт речь о нераздельности: термин как будто относится к непонятному слову вкупе с приписанным толкованием.

В Википедии имеется ссылка на Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, но мы обнаруживаем, что при заимствовании составители электронного справочника произвели сокращение, из-за чего устаревшее значение срослось с современным. В ЭСБЕ (том VIIa, издан в 1893) давалась развёрнутая история вопроса:

«Глосса (от греч. γλῶσσα язык) — обозначала у греков и римлян непонятные или устаревшие слова, толкованиями которых грамматики занимались при изучении поэзии Гомера. Особенно эта отрасль филологии процветала в александрийскую эпоху. Впоследствии под глоссами стали подразумеваться не только объясняемые слова, но и самые толкования, особенно приписанные на полях рукописей или между строками объяснения слов. Эти глоссы или глоссемы нередко затемняли рукописи, попадая при переписке в самый текст, так что задачей классической филологии сделалось восстановление чистых текстов и удаление искажающих смысл глосс».

Напомню утверждение Монтеня: «Глоссы лишь увеличивают сомнения и невежество», и в только что прочитанном словарном гнезде мы находим подтверждение его словам: глоссы (принадлежавшие, добавлю, не обязательно филологическому корифею) нередко *затемняли рукописи*. Переписчики переносили их в основной текст (как в наше время вносятся в рукопись авторские, редакторские или корректорские пометы), и выскажу своё большое сомнение в том, что какой-либо современный филолог способен *восстановить чистый текст, удалить искажающие смысл глоссы*.

По ходу дела замечу, что в древнегреческом γλῶσσα значило *язык* в смысле *речь* (language) и как *орган во рту* (tongue); похоже, что дополнительное значение *устаревшее, диалектное или иностранное выражение* (an antiquated, dialectic, or foreign expression) появилось с подачи Аристотеля — по каким соображениям, можно только гадать.

Комментарии к тексту бывают уклончивыми, обтекаемыми в связи с невежеством или неуверенностью толкователя, они могут быть ложными с пугливой оглядкой на определённые религиозные или политические установки и запреты, а если запретами пренебречь, как бы ваши *глоссы* не привели вас в темницу... В строку сразу просятся обличения сталинского режима, когда писатель, его издатель, автор предисловия и примечаний к его книге могли пойти под суд, ежели в изданной книге обнаружили *идеологически вредное* высказывание, но не буду толочь многожды перетолчённое, лучше вспомню историю с монахом Арсением Глухим, которому в 1615 году поручили исправлять богослужебные книги под руководством преподобного Дионисия и в паре с попом Иваном Наседкой. Для общего представления о тогдашнем настроении умов привожу сведения из статьи о митрополите Ионе из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона:

«С 1614 по 1619 год делами церкви правил крутицкий митрополит Иона, не оправдавший возложенных на него надежд и допустивший много нестроений и насилий. Самое явное из них произведено было над справщиками богослужебных книг, редактировавшими тексты для печатных изданий. Эти справщики, монахи Арсений Глухой и Антоний из Троице-Сергиева монастыря и знаменитый архимандрит того же монастыря Дионисий, а с ними поп Иван Наседка, были допущены к исправлению книг *государевым словом*, мимо митрополита Ионы, и занимались своим делом не на печатном дворе и не у митрополита, а в своём монастыре. Будучи людьми начитанными и, по степени разумения дела, возвышаясь над прежними справщиками, они нашли, что исправить в служебных книгах, и указали ряд ошибок не только в старых изданиях, но и в книгах, напечатанных уже в правление Ионы...»

В статье из ЭСБЕ (том 2, 1890 год), посвящённой собственно Арсению Глухому, сказано, что в богослужебных книгах имелись *тьмочисленные* ошибки, «вкравшиеся в них благодаря невежеству прежних справщиков». По-моему, в данном случае правильнее сказать не *вкравшиеся*, а *допущенные*, и не *благодаря*, а *из-за*, но сам факт наводит на раздумья: к редактированию церковных книг привлекались люди из церковной братии, не с улицы взятые, но вот ведь: хотя всегда было принято считать духовенство, в целом, образованным сословием, носителем знаний, здесь звучит обвинение в невежестве, и следствием невежества стали тысячи ошибок — или десятки тысяч, или сотни тысяч, в

зависимости от того, как мы понимаем это *тьмочисленные*. И ошибки эти были допущены в руководствах по ведению богослужения в том или ином случае.

Митрополит Иона «посмотрел на дело так, как будто исправление, шедшее независимо от него, направлено именно в его осуждение. А здесь подоспел ещё донос на справщиков от их личных недругов, Троицких же монахов Филарета и Логгина; они обвиняли своего архимандрита и его сотрудников в том, что те еретически изменили в требнике конечные славословия молитв и опустили слова *и огнём* в молитве на крещение Господне. И когда Дионисий весной 1618 года представил исправленный им потребник на утверждение Ионы, митрополит созвал на 18 июля собор для суждения о поправках. Суждение это превратилось в суд над справщиками; их справедливые мнения были признаны за неправильные невежественными судьями; арх. Дионисий и Арсений Глухой были осуждены и заточены в монастырь. Особенно тяжело пришлось арх. Дионисию: наложенную на него эпитимью митрополит превратил как будто бы в средство личного своего мщения. Сверх того, что архимандрита истязали в монастыре, его ещё требовал к себе на двор митрополит и подвергал унижениям и истязаниям. И так дело продолжалось до возвращения из плена Филарета. Бывший в Москве в 1619 году иерусалимский патриарх Феофан, хотя и заявил о правоте Дионисия, не решился один требовать формального пересмотра вопроса о *прилоге: и огнём*. Зато после посвящения Филарета в патриархи, всего через неделю, 2 июля, оба патриарха повелели рассмотреть вновь на соборе дело справщиков. Дионисий давал пространные объяснения и на этот раз одержал победу над противниками. Его мнение признали правым, его самого и его товарищей — невинно страдавшими. Все они были восстановлены в правах и остались при обязанностях справщиков. После формального сношения с Востоком, уже в 1625 году, патриарх Филарет повелел указом замарать во всех требниках прибавку *и огнём* и никогда не читать её в молитве».

Позволю себе пояснение; когда-то давно я читал эту историю в более полном изложении, с деталями, в Брокгаузе не приведённым, но имя автора и название того разыскания я забыл и в полной точности деталей не ручаюсь. В ранних, может быть, первых изданиях Потребника молитва на день Богоявления Господня заканчивалась словами: «сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом твоим святым». Какой-то рьяный священнослужитель счёл, что здесь как будто недосказанность, или даже пропуск, или же его снедало воинственное чувство, что требуется в более сильных выражениях утверждать веру, — так или иначе, он сделал *маргинальную глоссу*, то есть написал на полях той страницы Потребника, где приводилась молитва, добавление, *прилог* из двух слов: *и огнём*. Какой-то справщик, как я понимаю, из *прежних невежественных*, принял глоссу за руководство к действию, перенёс её в текст при подготовке нового издания Потребника, так молитву и напечатали в новой редакции, так священнослужители и стали читать в церквях на Водосвятие: «сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом твоим святым и огнём».

Пришло время Арсения Глухого, он означенный *прилог* вымарал, как инородную вставку. Дионисий повёз исправленные богослужебные книги в Москву на утверждение. Далее я цитирую по статье об Арсении Глухом в ЭСБЕ: «Иона, недовольный тем, что исправление книг велось в Троицкой лавре, помимо него, и оскорблённый ещё тем, что справщики нашли ошибки в книгах, изданных уже при нём, созвал собор, который занялся не обсуждением исправлений, а осуждением справщиков: особенно ставилось им в вину то обстоятельство, что в молитве на день Богоявления Господня, которая в прежнем Потребнике кончалась словами: «Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом твоим святым и огнем», справщики *вымарали* слово *и огнем*. Все доказательства, приведённые Арсением и товарищами его в оправдание своё, не привели ни к чему; они были осуждены

и подвергнуты целому ряду истязаний. После пытки в Вознесенском монастыре Арсений содержался в тяжком заключении на Кирилловском подворье».

Можно считать, что правда в конце концов восторжествовала: «В июле 1619 года злополучные справщики по ходатайству патриарха Иерусалимского, гостившего тогда в Москве, были освобождены, а по возвращении Филарета, выбросившего слово *и огнём* в Требнике, Арсений снова был приставлен к книжному делу и долго работал на печатном дворе». Но, как мы читали выше, только «в 1625 году патриарх Филарет повелел указом замарать во всех требниках прибавку *и огнём* и никогда не читать её в молитве». То есть от пресловутой *глоссы* было не так-то просто избавиться, ибо, как мы знаем, написанное пером не вырубишь топором, и здесь шла речь о тексте, напечатанном с одобрения высшего духовного начальства, дело касалось богослужения, православной веры... Повторю замечание Пушкина, использованное мной в предыдущей части очерка: «Самое неосновательное суждение, глупое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии. Нам всё еще печатный лист кажется святым. Мы всё думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!»

По моим сведениям, указ Филарета повелевал не замарать, то есть зачеркнуть, прилог *и огнём*, а заклеить его в Требниках, и оное цензурное действие должны были произвести священнослужители на местах по всей необъятной России. В любом случае, зачёркивание или заклеивание означало изменить то, что было затвержено и многожды читано во время богослужений, так что, подозреваю, не у всех поднялась рука вносить исправления в *канонический* текст, пусть даже по указу нового патриарха; понятно, что даже при вымарывании, следы которого зримы на странице Требника, попы невольно задумывались каждый раз: произносить прилог или не произносить? Понятно, что подобные случаи заставляют согласиться с Монтенем, что «Глоссы лишь увеличивают сомнения и невежество».

9

Современные словари разительно отличаются от немногих простеньких азбуковников, имевшихся в России в 16 и 17 веках, они дают обстоятельные, *развёрнутые* объяснения для десятков тысяч слов, подкрепляя почти каждое толкование цитатами из лучших произведений признанных литературных мастеров... Посмотрим, как объясняется существительное *слово* в Малом академическом словаре:

«Слѡво, -а, мн. слѡвѧ, слѡв, -ѧм и (устар.) слѡвеса́, слѡвѣс, -ѧм, ср.

1. Единица речи, представляющая собой звуковое выражение понятия о предмете или явлении объективного мира. *Значение слова. Порядок слов в предложении. Русские и иностранные слова.* □ *Дитя ещё едва выговаривало слова.* И. Гончаров, Обломов.

2. *только ед. ч.* Речь, язык. *Культура слова.* □ *Люди долго пользовались богатствами родного слова, прежде чем обратили внимание на сложность и глубину его организма и оценили его значение в своей духовной жизни.* Ушинский, Родное слово. *Я — интеллигент, литератор, и оружие моё — слово.* Блок, Народ и интеллигенция»...

За первыми двумя пунктами следуют ещё пять, после них приводятся многочисленные фразеологизмы, убеждающие в частом и широком использовании *слова* в нашей речи; кто-то *даёт честное слово*, кто-то *не может связать двух слов*; к нынешнему обсуждению, как мне кажется, полезно прикладываются выражения о том, что мы зачастую знаем о чём-либо *с чужих слов*, то есть полагаемся на услышанное или прочитанное, мы принимаем на веру сказанное или написанное другими людьми, мы *верим на слово*, тогда как сказавший или написавший, возможно, просто *бросался словами*, или *бросал слова на ветер*, или *играл словами*, или занимался *плетением словес*,

за которыми, при вычурности или научности стиля, не усматривается особой мудрости, учёности и, может быть, вообще не стоит никакого смысла.

Ознакомившись с первым определением существительного *слово* в Малом академическом словаре, я почему-то снова *споткнулся*: зачем нам говорят о *звуковом выражении*. А если слова написаны, напечатаны на бумаге, тогда имеет место *зримое* выражение, разве нет? Ах да, здесь слово рассматривается как единица *речи*, а не как единица языка (который бывает устный и письменный). Правда, из приведённых примеров только в последнем я усматриваю связь со *звуковым выражением*: «Дитя ещё едва выговаривало слова». Другие примеры в первом параграфе, как мне кажется, не вполне или же *примерно* соответствуют определению: рассуждая о значении того или иного слова, устанавливая порядок слов в предложении, выписывая из словаря иностранные слова, мы представляем их в напечатанном виде.

Или же *речь* следует понимать как *язык*, но *язык* мы видим во втором пункте, который должен чем-то отличаться от первого. Или я, придавая взгляду чрезмерную зоркость, просто придираюсь? Или страдаю тугодумием (если не тупоумием), тогда как, пользуясь указанным словарём, все понимают с первого прочтения и, в отличие от меня, сразу улавливают смысл громоздкого словосочетания: *выражение понятия о предмете или явлении объективного мира*.

Упомянут *объективный мир*, и это уточнение в академическом издании, видимо, имеет существенное значение, оно сделано с определённой целью? Если я начну высказывать субъективное отношение к предметам и явлениям, считая всё, меня окружающее, комплексом моих ощущений, мне потребуются, видимо, не слова, чьё назначение в звуковом выражении понятий о предмете или явлении *объективного мира*, а какие-то другие *единицы*.

Если говорить о понятиях, так они, по-моему, все субъективны.

Потом: судя по напечатанному в первом параграфе, к единицам речи не относятся глаголы. Как так? Смотрите: в определении сказано о предметах и явлениях, но не сказано о *деяниях*, то есть о действиях. Вспомним хотя бы объяснение Ломоносова: «Слова вещь или деяние знаменуют».

Академические *глоссы* прибавили мне сомнений и пока что *не облегчили понимания*, как выразился Монтень, и, желая всё-таки понять, я обратился к другим источникам. В Большой Советской энциклопедии напечатано следующее:

«Слово — важнейшая структурно-семантическая единица языка, служащая для наименования предметов, процессов, свойств».

Видите, здесь слово всё-таки — единица языка, а не речи. И здесь упомянуты процессы, кои Ломоносов называл деяниями, я назову проще — действиями, исходя из правила, заученного в первых классах школы: глагол обозначает действие, отвечает на вопрос *что делать* или *что сделать*. Получается, лексикографы, составившие *нормативный академический словарь*, ошиблись? Или следует объяснять вежливо: люди выразились не вполне точно?

Продолжаю теперь *зорко* вглядываться в определение, даваемое в Большой советской энциклопедии: слово служит для наименования предметов, процессов, свойств. Как я понимаю, предлог и союз не именуют ничего из перечисленного. Получается, предлоги и союзы — не слова?

В БСЭ слово названо *важнейшей* структурно-семантической единицей. Следовательно, имеются другие, менее важные, и об этом имеется отдельное объяснение в другом томе этой же энциклопедии: «Единица языка — элемент системы языка, неразложимый в рамках определённого уровня членения текста и противопоставленный другим единицам...»

Полагаю, это написано для студентов-филологов или, точнее, для тех, кто прошёл полный курс обучения на филологическом факультете, усидчиво вникал в теорию и способен понять то, что я сейчас зачитал про *определённый уровень членения*, в рамках коего элемент системы языка неразложим... Лично я тоже учился на филологии и даже получил диплом, но, честно говоря, я не вполне понимаю. Возможно, я не усвоил в полном объёме то, чему на филологическом факультете учили. Поэтому у меня и возникают вопросы по поводу наставлений Ломоносова, объяснений в Малом академическом словаре и определений в Большой Советской энциклопедии.

10

В Словаре церковнославянского и русского языка, изданном в 1847 году, основное значение слова следующее: «Всякое речение, состоящее из одного или нескольких слогов, и служащее изобразительным знаком какой-либо вещи или понятия». Сразу напрашивается возражение: ведь речение — это любое высказывание (правда, некоторые настаивают, что это *устойчивое* сочетание слов). Но составители означенного словаря исходили из того, что ими же для *речения* дано одно толкование: *слово*.

В современном Малом академическом словаре мы читали о *звуковом выражении*, здесь говорится об *изобразительном знаке*, что бы это ни значило.

Почему-то до сих пор мы не слышали ничего о буквах. На мой взгляд, куда существеннее уточнить, что слова складываются из букв (есть такие, которые состоят из одной буквы), чем извещать о слогах. Деление слов на слоги условно, границы слогов подвижны, мнения о *проблеме слога* деления высказывались разнообразными...

Вообще, упоминание слогов в словарном объяснении ввергает нас в полемику, которая тянется не одно столетие (если не тысячелетие). Участниками полемики истрачены и тратятся тонны чернил, бумаги и типографской краски; даже самое поверхностное знакомство с *проблемой* привело бы в полную растерянность тех учителей, которые преподавали в начальной школе, и тем более нас, учеников начальной школы, когда мы в 1960-е годы уверенно писали по слогам в тетрадках: «Ма-ма мы-ла ра-му», и по поводу названий вроде *Ленинград* большинство из нас улавливало суть, когда учитель объяснял, что здесь два корня, *Ленин* и *град*, и второй знак переноса следует ставить между ними: *Ле-нин-град*. Оказавшись на филологическом факультете Ленинградского университета (не могу удержаться и повторяю, что в высших учебных заведениях в то время, как, собственно, на протяжении всего советского периода, значительная часть времени тратилась без пользы на историю Коммунистической партии Советского Союза), я убедился, что в преподавании иностранных языков уделялось слишком много внимания теоретическим отвлечённостям, и даже вопрос о делении слов на слоги оказался куда сложнее, чем можно представить.

В своё время известнейший авторитет в области фонетики, а именно Л. В. Щерба (1880-1944), говорил о четырёх теориях касательно того, что понимать под слогом: есть экспираторная теория, динамическая теория, сонорная теория, теория открытого слога... Сейчас таких теорий больше, ибо всякая наука *не стоит на месте*, в том числе фонетика, и движение вперёд в случае с гуманитарными науками, как я уже сказал, не приводит к однозначному пониманию и точным определениям, мы наблюдаем, что в дополнение к существующему изобилию плодятся новые теории и множатся мнения и точки зрения. После зачисления на филологический факультет нас направили сразу на кафедру фонетики, где произошло знакомство с теоретическими вопросами по трудам Л. Р. Зиндера (1903-1995), доктора филологических наук и профессора того же Ленинградского университета. Честно говоря, я мало что вынес из теории; что касается практики, я убедился в следующем: у большинства школьников, поступивших вместе со мной на

английское отделение, не получалось выговаривать чисто *по-английски* некоторые звуки; занятия на кафедре фонетики проводились иногда в лингафонной лаборатории, мы прослушивали тексты, начитанные англичанами, то есть имелась цель выработать, *поставить* у всех *правильное* произношение, но у большинства студентов оно, произношение, не приблизилось к тому, что звучало в наушниках, не стало тем, что считается нормой. Мы и по-русски все говорим по-разному. Ибо у каждого из нас *речевой аппарат* хоть немного, но отличается от *речевых аппаратов* других людей, и перестроить этот аппарат очень трудно (есть умельцы подделываться под чужую речь, они имеют, прежде всего, особое строение гортани и, усиленно тренируясь, достигают умения на время изменять голос).

Возвращаясь к теоретическим исследованиям, скажу, что уже по окончании университета, когда я сам взялся за составление пособий по английскому языку, у меня возникло ощущение, граничащее с уверенностью, что фонема, на существовании которой рьяно настаивала ленинградская фонетическая школа, есть фикция, такая же, как морфема...

Я отклоняюсь от темы, указанной в заголовке очерка, отталкивающейся от известных строк Фёдора Ивановича Тютчева; дабы вернуться в заданную колею, повторю уже не раз сказанное: чьи-либо высказывания, чьё-либо *слово* доходит до нас порой в изменённом, искажённом виде. Подкрепляю опять своё утверждение следующим суждением Монтеня: «Слова, переданные от одного человека, имеют и иное звучание, и иной смысл». Буду судить не столь категорично, используя наречия *порой, иногда, иной раз, временами, подчас...* Мы получаем подчас неверные сведения из вторых рук, узнаём что-либо спорное *с чужих слов* и не удосуживаемся, не желаем, не имеем времени и возможности проверить прочитанное или услышанное по первоисточнику, мы часто верим кому-либо *на слово*. Не раз и не два мне попадалось на глаза утверждение, будто Л. Р. Зиндер сомневался в существовании слогов, будто бы он заявил: «Слог есть фикция». Если обратиться к его «Общей фонетике», мы убедимся, что Зиндер лишь приводил в данном случае мнение других фонетистов: «Такие выдающиеся представители физиологически ориентированной экспериментальной фонетики, как Э. Скрипчур и Г. Панкончелли-Кальциа, считали слог фикцией, созданной лингвистами и психологами».

Человеку приписали (и это случается постоянно) то, что он не утверждал. Зиндер высказывался оптимистичнее: «Несмотря на всё сказанное, слог как некое единство с гласным в качестве ядра представляет известную реальность для говорящих».

Зиндер приводит суждение профессора Дж. Панкончелли-Кальциа (1878-1966): «Все попытки понять и представить слог фонетически были до сих пор бесплодными и останутся таковыми и впредь». Подобные заявления, казалось бы, должны подводить черту, ставить жирную точку, закрывать вопрос. Но тогда прекратилось бы развитие науки! Лично для меня, повторяю, фонема с морфемой являются выдумкой: те же лингвисты с психологами придумали именно в русле *научного развития*, стремясь к *открытиям*, доказывающим хотя бы то, что их многолетние штудии не были бесцельным толчением воды в ступе, никаких осязаемых плодов не приносящим. Что касается слогов, всё же будем считать их вслед за Зиндером *известной реальностью*. В какое-то время возникла и с развитием книгопечатания утвердилась договорённость: давайте придавать текстам более упорядоченный вид, без длинных пробелов, без пустот, для чего были придуманы и согласованы правила переноса, и мы без лишнего мудрствования, без оглядки на Джулио Панкончелли и других теоретиков фонетики, переносим слова, следуя простым навыкам, полученным в начальной школе, по показательному примеру *Ма-ма мы-ла ра-мы*, и по поводу чуть более сложных случаев, таких как *водотолчение* или *родной язык*, тоже есть соглашение, опять же, достигнутое не ради решения *проблемы слогоделения*, а исходя из практических и, если хотите, эстетических соображений: не следует оставлять на

предыдущей строке и переносить на следующую строку одну гласную букву слова или одни согласные без гласной, так что наборщик должен задать следующие переносы: *во-до-тол-че-ние* и *род-ной язык* (оставив *язык* цельным, как и, например, существительные *речь, мышь, ткач*). Я говорю об условности и о договорённости; *забивая голову отвлечённостями*, мы никогда не придём к единому мнению, тогда как, договорившись о правилах, мы не напрягаем ум, рассуждая, какую теорию слога деления нам следует здесь приложить, экспираторную, динамическую, сонорную или теорию открытого слога, ежели возникла необходимость сделать перенос, скажем, в фамилии профессора Панкончелли, мы применяем простое правило: каждый слог содержит гласную, так что *Пан-кон-чел-ли*, *господа*, и никак не иначе!

11

О родном языке не возбраняется рассуждать каждому, независимо от умственных способностей и образования; впрочем, не только о родном, можно посудачить от нечего делать о любых иностранных наречиях и древних языцах, вплоть до санскрита и праиндийского. Говорю об этом без иронии; происхождение, значение и употребление слов — не ядерная физика и не молекулярная биология; уже в два-три года мы начинаем говорить, в шесть лет кое-кто умеет писать, кто-то в таком же юном возрасте начинает читать — без особого обучения, без чрезмерных усилий, так что и судить о родной речи не кажется делом, требующим специальных знаний, полученных на филологическом факультете.

Не буду размениваться на перлы народных суждений в области языкознания, услышанные собственными ушами, вспомню *классические* примеры, и прежде всего на память приходит многоглаголание и суемудрие Василия Кирилловича Тредиаковского (1703-1769), пиита, переводчика и *филолога*: он считал, нет, он доказывал, что, например, скифы (в его написании *скитфы*) получили такое название потому, что *скитались*, оно образовано «от скитания, то есть от свободного прехождения с места на место». Сей славный муж поступил в 1723 году в Славяно-греко-латинскую академию, оставил её, не доучившись, но полученные за два года знания считал достаточными для смелых филологических исследований и открытий вроде того, что *амазонки* следует понимать как *омужоны*, то есть *мужественные жёны*. С особенным любопытством мы знакомимся с объяснениями Тредиаковского, каким образом возникли географические названия: Италия — она же Удалия (удалой народ населял полуостров с давних времён); Бельгия — *от белизны обитателей сей страны*; Британия на самом деле *Братания*, потому что британские кельты являются родственниками, братьями тех кельтов, что жили в Галлии... Умствования Тредиаковского имели, в целом, патриотическую направленность: он считал, что первенство среди народов принадлежит русским, ибо они — потомки упомянутых скифов, древнейшего европейского народа, и тот народ говорил на славянском языке!

Лингвистические бредни Тредиаковского не канули в Лету, с ними можно познакомиться — из любопытства, ради развлечения, не более того, и нелепы оговорки, будто в них имеется всё же некое *рациональное зерно*, будто это был полезный шаг в развитии русского языкознания. Замечу, что подобная лженаучная галиматья (кстати, слово *галиматья* впервые употребил Монтень, и, вполне возможно, он сам его придумал), так вот, подобная ахиня служит примером и доказательством тому, как безудержна и беспредельна человеческая фантазия. Не имея границ и препон, она доводит отдельных фантазёров до сумасшедшего дома, некоторых, при особо крутых правителях и властях, до тюрьмы, если мечтания имеют политический характер, но, бывает, какая-нибудь душевнобольная личность благодаря своим грёзам, устремлённым в глубины Вселенной, приобретает звание философа, и оную личность, не понимая вполне его бредней,

приобщают к своеобразному *течению мысли*, именуемому космизмом. Хуже, когда видения одного, страдающего умственным расстройством, трагически отражались на других; если в какие-то времена его заявления о том, что соседка по деревне наводит порчу и летает ночью по воздуху, приобщались к своду сказок и суеверий, в иную эпоху подобный выдумщик, чей разум *помутился от причуд своего же расстроенного духа* (использую слова Монтеня), являлся с доносом в соответствующие органы и клятвенно уверял, что на его глазах такая-то девица вылетела на метле из печной трубы, и, выслушав его рассказы, судьи, люди образованные, прошедшие курс юриспруденции в каком-либо прославленном французском или немецком университете, не считали, что он тронулся умом, его выслушивали с доверием, его измышления, воспринимаемые как неоспоримые свидетельские показания, прилежно записывались и служили основанием для возбуждения судебного дела, и несчастной *ведьме* грозил застенок, допросы, пытки, *испытание водой*, придуманное серьёзными богословами, обучавшимися в тех же прославленных университетах.

Тредиаковский рассуждал с авторитетным видом о *первенстве словенского языка перед тевтоническим*. Более известно высказывание Гоголя в том же духе в «Мёртвых душах»; правда, Николай Васильевич, в отличие от Василия Кирилловича, не вдавался в долгие филологические обоснования: «Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; лёгким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает своё, не всякому доступное умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово».

Мы понимаем, что Гоголь, известный своими фантастическими произведениями, и здесь ударился в фантазии, его *сравнительное языкознание* не следует принимать всерьёз, точно так же, как сравнение тяжеловесной, громоздкой России с лёгкой и быстрой *птицей-тройкой*. Но некоторые читатели, особенно из числа *разгорячившихся патриотов*, верят, что так оно и есть, ибо великий писатель, очевидно, сличал указанные языки и, обладая фактами и доказательствами, знал, о чём говорит; впрочем, превосходство *меткого русского слова* над всеми иностранными речениями и не требует доказательств, ибо так оно и есть! Ради духовности и патриотизма можно верить и не сомневаться, что Гоголь был совершенно прав, когда утверждал, что слово «есть высший подарок Бога человеку». К теме неизбежно подвёрстывается Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) с заезженной цитатой из «Стихотворений в прозе», имеющих второе заглавие «Senilia», что значит «Старческое»: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Есть основания посочувствовать знаменитому писателю, у которого за год до смерти осталась *одна* поддержка и опора (тогда как другие люди в преклонном возрасте имеют для поддержки родственников и друзей). Пребывая в удручении, особенно в старческой тоске, человек склонен *сотворять себе кумиров*, но, если рассуждать здраво, давайте признаем, что язык для писателя такой же инструмент, как, например, стамеска для краснодеревщика или кисти с мольбертом для художника. Нам понятна любовь мастера к своим инструментам, он может их боготворить, но уместно ли их обожествлять? — ибо мастерство в человеке, а не в орудиях труда.

Называя какой-либо язык великим, можно, конечно, отталкиваться от количества людей, на нём говорящих, — точно так, как, по замечанию Монтеня, «лучшим доказательством истины мы склонны считать численность тех, кто в неё уверовал». Опираясь на цифры, придётся признать, что самый великий язык — китайский, за ним следуют, существенно отставая, испанский, английский, арабский... Ни один человек не

бывает во всём и до конца правдив, он не свободен, проживая в обществе, и даже предельно обособившись, он зависит от других людей или, в конце концов, от сил окружающей природы. Рассуждать о свободе и правдивости языка, русского, китайского, хоть какого, — это значит пустословить. Или, если хотите, пустомелить. Как-то неловко обвинять наших классиков в пустословии... Хорошо, давайте учитывать, что они, действительно, классики, давайте принимать во внимание, что сочинители — люди *не от мира сего*, к ним нужно подходить с особой меркой; согласимся, что откровения от Гоголя и Тургенева, даже от Третьяковского, по поводу родной речи имели благородную направленность и возвышенное звучание, и будем лучше использовать книжный глагол *празднословить*: они, пребывая в творческом восторге, испытывая душевный подъём, *под влиянием страстных увлечений*, предавались по обсуждаемому вопросу славословию, русскую речь провозглашая первой в мире, правда, их славословие является по сути празднословием.

Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848) писал М. А. Бакунину (20 июня 1838 года): «Учусь дорожить словом как выражением разума и не смотреть на него как на празднословие». Согласимся со здравым суждением нашего прославленного литературного критика: слова служат для высказывания того, что у человека в мыслях. В общении на бытовом уровне у нас неизбежно преобладает обмен повседневными затасканными фразами, мы говорим много того и такого, что можно было не говорить; оно же, пустословие, преобладает там, где, казалось бы, его не должно быть: в выступлениях политических деятелей перед публикой, в дискуссиях на всяческих форумах, конференциях и совещаниях. На нём держится телевизионное вещание — на каждом канале есть своя изба-говорильня, где ведущий и приглашённые, в основном, пустословят на разные темы; казалось бы, *дорожите словом*, как советовал Белинский, *взвешивайте хорошенько*, как наставлял Гоголь в своих рассуждениях «О том, что такое слово», ограничьте болтовню и донесите до слуха телезрителей только существенное; но без празднословия и водотолчения будет нечем заполнить круглосуточное вещание! Литератору, как нам кажется, предоставлено время подумать перед тем, как взяться за перо и приложить его к бумаге, ему и следует больше других задумываться: есть ли смысл в том, что он пишет, как его слово отзовется, будет ли он правильно понят, и не пойдут ли во вред его непримиримые высказывания против отдельных личностей, целых коллективов, партий и народностей? На этот счёт не раз давались мудрые советы и звучали предостережения; имея под рукой гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями», в коих Николай Васильевич давал поучения многим лицам, вплоть до государственных мужей, по многим вопросам, обратимся к его рассуждениям *о том, что такое слово*»:

«Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом — в те поры, когда не пришла ещё в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет...»

Очень любопытно: Гоголь учит других тому, чему не следует сам. «Выбранные места» как раз самый очевидный пример, когда пишущий торопится донести до публики свои рассуждения, хотя *не пришла в стройность его душа* (при этом он делится со своими читателями такими мыслями, которые лучше бы не предавать огласке). Если не гнев, то досада и осуждение слышатся в его выпадах против историка М. П. Погодина:

«Приятель наш П....н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестью его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: *Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих*

драгоценных строк; в великом человеке всё достойно любопытства, — и тому подобное. Всё это пустяки. Какой-нибудь мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. <...> П.....н <...> торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им всё, чего он набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом — выказывал перед читателем себя всего во всём своём неряшестве».

Последнее замечание прямо-таки обращается на самого пишущего: в «Выбранных местах» Гоголь, не разбирая, *созрела ли мысль*, выставил себя перед читающей публикой, перед всей Россией именно *во всём своём неряшестве*. Не буду утверждать, что современники и потомство *плюнуло* на строки, которые — в момент написания — казались Гоголю драгоценными (ведь он испытывал сильнейший душевный подъём, когда работал над «Выбранными местами»), не думаю, что *всем опротивело* слово, которое вышло из его *не пришедшей в стройность души*, но лично я не сомневаюсь, что его поучения и замечания кого-то покоробили, кого-то обидели (того же Погодина), кто-то назвал автора сумасшедшим, Белинский, как мы знаем, пришёл в сильнейшее негодование и обвинил Гоголя (в письме от 15 июля 1847 года) в том, что тот «под покровом религии и защитой кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель». Наверно, *неустовому Виссариону* (как называли его друзья) следовало сдержаться и не гневаться так сильно на литератора, человека *не от мира сего*, тем более с явными признаками душевной болезни, но Белинский не сдержался: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете? Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною...»

Казалось бы, цензура и власти должны были возрадоваться «Выбранным местам», в коих известный литератор выступает *проповедником кнута*, то и дело поминает Бога, печётся о России... Но и власти оторопели: проповедь Гоголя то ли за здравие, то ли за упокой? То ли он всерьёз, то ли ёрничает?

По-моему, Гоголь отчасти в «Мёртвых душах» и полностью в более поздних писаниях, особенно в публицистике, в рассуждениях о России, о вере в Бога, о том, *что такое слово*, во всех выбранных местах из переписки с известными и неустановленными собеседниками, — *сам свой клеветник*. Художник рисует портреты разных людей, и есть мнение, что сквозь чужие лики проступают его собственные черты; у писателя в разных литературных героях улавливается что-то от него самого: Евгений Онегин похож на Пушкина, в Печорине мы узнаём Лермонтова; Достоевский наделил каждого из своих героев, Раскольников, князя Мышкина, Ставрогина, по отдельности братьев Карамазовых и их сластолюбивого отца, частью своих личных представлений, помыслов, страстей и вождлений. По-моему, Гоголь, давая характеристику Погодина, неосознанно, подсознательно обрисовал суть своего собственного творчества:

«Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нём так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник».

Так или иначе, в кругах, прямо противоположных тому лагерю, к которому принадлежал Виссарион Белинский, откровения и поучения Гоголя тоже вызвали недоумение, непонимание и возражение: цензура не разрешила печатать полностью пять статей из «Переписки», в допущенных статьях что-то было удалено или изменено.

Например, из рассуждений «О том, что такое слово» цензор вырезал как раз только что зачитанное место, где говорится о подкупном патриотизме, раболепстве и корыстном угождении...

На мой взгляд, следующий пример ярко показывает, как человек, обращаясь к публике, выкладывая напоказ свои мысли, сообщает о мотивах, считая их благородными, о поставленных целях, называя их святыми, а в ответ раздаётся то, что он никак не ожидал услышать. Во время работы над «Выбранными местами» Гоголь сообщил П. А. Плетнёву (в октябре 1847 года): «Я действовал твёрдо во имя Бога, когда составлял мою книгу, во славу его святого имени взял перо...» И вот отповедь С. Т. Аксакова: «Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить Небу и человечеству, оскорбляете и Бога, и человека».

Я считаю, что при написании книги, да и в других деяниях и поступках, нет нужды ссылаться на Бога, взывать к нему, призывать его в свидетели, объявлять себя исполнителем его воли и орудием божественного промысла, считать свою работу богоугодной. Кстати, постоянные ссылки на Бога у Гоголя есть нарушение известного предостережения в заповедях Моисея; напомним его полностью, ибо его обычно укорачивают, опуская слова о том, что за нарушение заповеди предусмотрена кара:

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно (Исход 20:7)».

Человек, склонный к мистике (или к логическим рассуждениям) может обнаружить причинно-следственную связь и сделать вывод, что Николай Васильевич Гоголь был наказан за частое *напрасное* упоминание божьего имени.

Верующие люди, как священнослужители, так и паства, называют Бога всемогущим, всеведущим и нелицеприятным, они провозглашают, что всё от Бога, что в его власти весь мир, всё совершается по его воле, что *всё существующее, видимый и невидимый мир, содержится Божественной властью и всемогуществом*, и это никак не согласуется с дальнейшими утверждениями, что Богу требуются слуги, прислужники и угодники, он нуждается в постоянных вещественных подношениях, надобно постоянно его прославлять — иначе он *не оставит без наказания*, и на ваши головы падёт его гнев. Бог наделяется качествами земного властолюбивого, гневливого и мелочного правителя, прислушивающегося и болезненно воспринимающего людские оскорбления... Если говорить по сути, Аксаков отметил то, от чего не отмахнёшься: Гоголь *беспрестанно противоречит сам себе*. И доскажу своё личное мнение: «Выбранные места из переписки с друзьями» показывают, что человеческий разум способен на удивительные умопостроения, умозаключения и умоизлияния, какие только причуды он не порождает!

Призыв Гоголя к *честному обращению со словом* почему-то перекликается у меня в сознании с отеческим поучением Максима Горького: «Любите книгу — источник знания». В своё время во многих, если не во всех библиотеках Советского Союза можно было увидеть на стене табличку с этими *мудрыми* словами, возведёнными в крылатое речение и включаемые в сборники афоризмов. Все библиотечные стены, и не только их, можно оклеить схожим пустозвонством для видимости, что общество постоянно думает о *культуре слова*, печётся о духовном развитии своих членов... «Обращаться с словом нужно честно»... Брякнет же человек такое!

Впрочем, нельзя ждать здравых суждений от художника; талант и здравомыслие несовместимы.

12

Оставлю в покое литераторов, не стоит принимать всерьёз рассуждения о слове, о языке и родной речи, исходящие от сочинителей. По большому счёту, сочинителям

свойственно фантазировать, и чем больше выдумки в их художественных произведениях, чем больше фантастичности, тем нам интереснее читать. Гоголь ввёл в свои повествования чертей, ведьм, русалок, нежить и нечисть (без оговорки, что это сказочные существа, в природе не существующие), у него в одном из «Петербургских рассказов» нос отделился от физиономии майора Ковалёва и зажил свой жизнью (тоже без объяснения, каким образом случилось это *необыкновенно странное происшествие*), и благодаря такому вымыслу сочинения Гоголя интереснее тургеневских произведений, где *всё почти как в жизни*, и тем более писаний Максима Горького, *основоположника социалистического реализма*, у которого в большинстве случаев *всё как в самой жизни*.

Как ни странно, в трудах признанных лингвистов тоже встречается всяческая чертовщина... Прошу прощения, всякая сказочность. Помня вдохновенные, но совершенно несостоятельные филологические *открытия* Тредиаковского, сравним их с *научной* точкой зрения признанного лингвиста Михаила Ломоносова. Мы снова берём в руки его «Русскую грамматику» и обнаруживаем в оном опусе, во вступительном слове, следующий перл *сравнительно-исторического языкознания*:

«Повелитель многих языков, язык российский, не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему, трудов прилагали. Но кто, не упреждённый великими о других мнениями, прострёт в него разум и с прилежанием вникнет, со мною согласится. Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятельми, италийским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашёл бы в нём великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италийского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. <...> Меня долговременное в российском слове упражнение о том совершенно уверяет. Сильное красноречие Цицероново, великолепная Вергилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сём видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нём искусству приписывать долженствуем. <...> Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики. И хотя она от общего употребления языка происходит, однако правилами показывает путь самому употреблению»...

Мы видим, что Ломоносов, возведённый людьми несведущими в *создатели основ современного русского литературного языка* и в *реформаторы русского языка*, со своими восторженными рассуждениями о превосходстве русского слова недалеко отстоит от Тредиаковского, речистого пиита, предавшегося историко-лингвистическому витийству и сделавшего открытие о *первенстве словенского языка перед тевтоническим*. Вспомним и лингвистические, так сказать, характеристики от сочинителя Гоголя: он усмотрел в слове британца *сердцеведение и мудрое познание жизни*, он обнаружил в *недолговечном* слове француза лёгкое щегольство, он заявил, что *умно-худощавое* немецкое слово затейливо и не всем доступно, а первенство, опять же, принадлежит *метко сказанному русскому слову*.

Ломоносов основывает свои суждения на опыте: *долговременные упражнения в российском слове* убедили его, что в русском языке присутствуют лучшие качества греческого и латыни, и будто бы произведения упомянутых им античных авторов *не теряют своего достоинства* в переводе на русский. Сие не соответствует

действительности, и перед нами пример того, как жизненный опыт, личные наблюдения и упражнения не обязательно приводят к взвешенным, беспристрастным, убедительным и бесспорным выводам (вспоминается в качестве другого показательного примера Цезаре Ломброзо (1835-1909): многолетние наблюдения за преступниками и душевнобольными привели его, психиатра, к умозаключению, на вид обоснованному, но по сути ложному, будто преступные наклонности зависят от анатомических отклонений, являются следствием физического уродства). Нельзя согласиться с Ломоносовым, что оратория (то есть ораторское искусство, красноречие), поэзия, философия, история и юриспруденция *тупы, сомнительны, неосновательны* без грамматики. Ознакомившись в предисловии с прозвучавшими *посылками*, в том числе с тем, что *все науки имеют нужду в грамматике*, можно предполагать или смело утверждать, что в основном тексте последуют притянутые за уши доводы и спорные выводы.

«Российская грамматика» явилась в середине 18-го века, так что ожидаются оправдания: это же был первый шаг в нашей филологии, это первый опыт, это ведь *заложение основ...* Отговорка, не более того. Язык развивается и обновляется сам по себе, не по воле и не под воздействием *реформаторов* и *основоположателей*. Если вести речь об описаниях своего или иностранного языка, то некоторые языковеды, включая Ломоносова, старались представить родную речь не в том виде, в каком она есть, а в том, в каком ей, по их представлениям, следует быть. С древнейших времён существовали справочники с грамматическим разбором того или иного языка; Ломоносов учился по «Грамматике», составленной Мелетием Смотрицким, и, как говорится, он *не расставался* с этим учебником. Он имел под рукой иностранные образцы, и должен был обращаться к ним, чтобы не тратить время на *изобретение велосипеда*. При выборе того, что подходит к описанию русского языка, он должен был продумывать и взвешивать свои определения, а не славословить бездоказательно родную речь, и не выдавать легковесные фразы, *примерно* объясняющие суть, как, например, при описании местоимений, которые у него *служат для сокращения существительных*.

Кстати, в своих «Опытах» Монтень вспоминает Диомеда, который «заполнил целых шесть тысяч книг только одним предметом — грамматикой». Считаю полезным прислушаться и к язвительному продолжению: «И чего только не породит болтливость, если даже лепет и едва заметные движения языка придавили мир столь ужасающей грудой томов? Столько слов ради самих слов!»

13

Есть ощущение, есть даже уверенность, что словари, справочники по грамматике со временем улучшаются, из них исключаются неточности и ошибки, при этом правила чётче формулируются, определения совершенствуются, *отшлифовываются*, мы приближаемся и, может быть, даже приблизились к максимально возможной точности. Но я уже приводил пример с фонетикой, где на сегодняшний день наблюдается только количественное увеличение теорий по поводу слогов и слогаделения.

В современном Малом академическом словаре мы нашли пять определений в словарном гнезде с существительным *слово*, и, повторяю, первое же определение кажется мне в чём-то ошибочным, и уж точно тяжеловесным с идущими подряд существительными в родительном падеже, и, как я говорил, меня смущает, зачем здесь упомянут *объективный мир*: «Единица речи, представляющая собой звуковое выражение понятия о предмете или явлении объективного мира».

Предлагаю присмотреться ко второму определению в словарном гнезде, точнее, к сопутствующим примерам:

«Речь, язык. Культура слова. □ Люди долго пользовались богатствами родного слова, прежде чем обратили внимание на сложность и глубину его организма и оценили его значение в своей духовной жизни. Ушинский, Родное слово. Я — интеллигент, литератор, и оружие моё — слово. Блок, Народ и интеллигенция».

Культура слова... Видимо, это то же самое, что культура речи. И об означенном отвлечённом предмете можно очень долго, даже в течение всей жизни, говорить и говорить, неторопливо дискутировать, предлагать своё понимание, выслушивать мнения оппонентов, в чём-то с ними соглашаться, в чём-то не соглашаться, защитить об означенной *проблеме* кандидатскую диссертацию, потом с этой же *проблемой культуры слова* дорасти по количеству публикаций и до доктора филологических наук, об этой же проблеме ведутся умные разговоры по телевизору с привлечением филологов, культурологов и записных краснобаев, только эти беседы *за круглым столом* ни к чему не приводят... Кстати, в 1930 году в московском издательстве «Работник просвещения» было напечатано методическое пособие (для школьных преподавателей 2 ступени) с таким названием — «Культура слова», и в предисловии автор, К. Б. Бархин (1876-1938), следующим образом объяснял цель своего труда:

«Установка у меня чисто практическая: я рассматриваю класс как учебную мастерскую по словесному ремеслу, а преподавателя языка и литературы — как инструктора, руководящего работой будущих *кузнецов и ювелиров слова...*» И так далее в том же приподнятом духе и с неисполнимым желанием окультурить поголовно всё население страны, со школьной скамьи привить каждому *культуру речи*. В пособии около трёхсот страниц, и я подумал: бедные преподаватели второй ступени! В двадцатых и в начале тридцатых годов они едва справлялись с кучей детей, разболтанных и неуправляемых под воздействием недавних исторических событий: свержение монархии, захват власти большевиками, уничтожение царской семьи, братоубийственная Гражданская война; эти дети познали сиротство, безотцовщину, беспризорность, их, не умеющих и не желающих *напрягать мозги*, не способных сидеть каждый день по несколько часов в классе, *соблюдая тишину и порядок*, их научить хотя бы чтению, письму и арифметическому счёту, а в названном пособии учителям для работы с подопечными навязываются «Приёмы для выработки умения составлять подвижной рабочий план», преподавателям ставится задача, чтобы в *учебной мастерской* они сделали детишек *кузнецами и ювелирами слова*.

Мне показалось, что Бархин, хотя он имел какой-то педагогический опыт, хотя он и назвал свою установку *практической*, предавался в своих рассуждениях и наставлениях маниловским мечтаниям, во-первых, неисполнимым и, во-вторых, практической пользы как раз не предполагающим; есть в них что-то и от художника Гоголя, портрет Манилова нарисовавшего (отчасти с себя), сравним это *кузнецы и ювелиры слова* с гоголевскими восклицаниями, что *обращаться со словом нужно честно*, и что русский язык *сам по себе уже поэт*.

И уж точно в гоголевском, я чуть было не сказал в *хлестаковском* духе высказался Константин Дмитриевич Ушинский (1823-1870) в своём «Родном слове» (написанном в 1864 году): «Люди долго пользовались богатствами родного слова, прежде чем обратили внимание на сложность и глубину его организма и оценили его значение в своей духовной жизни». Прочитав, мы вспоминаем невольно байку, как князь Владимир рассуждал, какую религию выбрать для Руси, сравнивая и оценивая их пользу лично для себя и для Руси: позаимствовать нам иудаизм, магометанство, католицизм или православие? Невольно приходят на память созвучные древние былины с князьями *ясными солнышками*, по разным поводам *думушку думающими*, и *вдохновенными кудесниками*, мудрые советы дающими. Разве не похоже; послушайте, как рассуждает в былинном духе признанный педагог Ушинский: люди пользовались *богатствами родного слова*, долго пользовались, а

потом, однажды, именно так, в один прекрасный момент! — они вдруг обратили внимание: батюшки светы, мы до сих пор не обращали внимания, а теперь присмотрелись пристально, и нас как огорошило: какова *сложность и глубина его организма*; и только тогда, *обратив внимание*, люди оценили значение родного слова — *в своей духовной жизни*, как уточняет Ушинский, и указание только на *духовную* составляющую как будто исключает материальные нужды и потребности, словно в быту, в мастерских и на пашнях родная речь менее важна или совсем не нужна. Что за ахинея!

И третьим примером, на мой взгляд, тоже неудачным, приведённое толкование не подтверждающим, взят Александр Блок, вечно обиженный, как до революции, так и после неё, с запальчивым объявлением, что он — интеллигент, литератор, и оружие его — слово. А кому он это доказывал, с кем он собирался воевать? Для этого необходимо ознакомиться в полном объёме с его статьёй «Народ и интеллигенция» (написанной в 1908 году, напечатанной в самом начале 1909 года). Даже при поверхностном ознакомлении мы обнаруживаем, что цитата, как это часто случается, вырвана из контекста, и вырвана она составителями академического словаря, работа над которым шла в советские годы, по соображениям односторонним. Потому что именно такими *революционными* фразами требовалось подкреплять словарные определения, фразами тех, кто *всем сердцем принял Революцию*, — что тоже натяжка, тоже *вырвано из контекста*, ибо Блока *сделали* сторонником большевизма, поскольку он однажды, а именно в январе 1918 года, отвечая на вопрос одной петроградской газетёнки, заявил, что интеллигенция *может и обязана* сотрудничать с большевиками, потому что в известной поэме «Двенадцать», созданной в том же январе, он воскликнул: «Революционный держите шаг!»

В статье «Народ и интеллигенция», если вдуматься, биение себя в грудь: я интеллигент! и сравнение слова с оружием как-то не вписываются в суть всех рассуждений.

«Я хотел бы поставить вопрос резче и беспощаднее; это самый больной, самый лихорадочный для многих из нас вопрос. Боюсь даже, вопрос ли это? Не свершается ли уже, пока мы говорим здесь, какое-то страшное и безмолвное дело? Не обречён ли уже кто-либо из нас бесповоротно на гибель?»

Но я — интеллигент, литератор, и оружие мое — слово. Боясь слов, я их произношу. Боясь *словесности*, боясь *литературицины*, я жду, однако, ответов словесных; есть у всех нас тайная надежда, что не вечно пропасть между словами и делами, что есть слово, которое переходит в дело».

Меня можно обвинить в том, что я придираюсь ко всем и ко всему, буквально к *каждому слову*. Высказывание Ушинского мне не нравится, рассуждения Блока не подходят... А какие примеры привёл бы я, из каких произведений каких классиков? Я бы не трогал классиков и художественную литературу. В литературе множество красивых и звонких фраз, которые, во-первых, составлены с отступлением от нормативной грамматики и, во вторых, они зачастую со своим многословием и в своём живописном выражении не соответствуют определению, данному в словарной статье. А примеры должны соответствовать как можно точнее. Составители должны сами придумывать примеры, используя короткие бытовые фразы. Я считаю показательными следующие объяснения по поводу стула и стола в сказке «Кошкин дом», написанной Самуилом Маршаком для детей:

Вот это стул —
На нём сидят.
Вот это стол —
За ним едят.

Язык — не оружие, и язык не *поэт сам по себе*, он — средство общения в животном мире, частью которого является человек. В человеческом обществе возникла необходимость в словарях — не для упражнений ума, не для лингвистических мудрствований, не для цитирования классиков, а для того, чтобы объяснить слова и выражения родной речи, и в помощь тем, кто переводит с одного языка на другой. Упражняться в красноречии, в остроумии, в суесловии предоставим всем желающим за рамками лексикографии.

14

Желая придать глубину и научность своему очерку, я уже было подверстал к своим рассуждениям высказывание знаменитого философа Платона о первостепенности ученика при обретении знаний, но выяснилось, что философ не говорил того, что я нашёл в английских источниках: «All learning is in the learner not in the teacher». По крайней мере, я не обнаружил *цитату* в его «Федоне».

В очерке я несколько раз повторил слова Монтеня, считая их подтверждением моих собственных выводов, о том, что мы забиваем себе голову отвлечённостями, но, сравнив изданный русский перевод с подлинником, я обнаружил, что Монтень имел в виду не *отвлечённое*, а *общее* (как противоположность *частному*). Как так? Объясняю. Вернее, попытаюсь объяснить.

В главе «О суетности» мы читаем (в русском издании 1991 года): «Мы забиваем себе голову отвлечённостями и рассуждениями о всеобщих причинах и следствиях». По-французски в издании 1595 года в главе «De la Vanité» напечатано:

«Nous empeschons noz pensées du general, et des causes et conduittes universelles».

Здесь старая орфография, возникает желание прочитать предложение в современном написании, и мы находим издание 2009 года, где, однако, не воспроизведение первоисточника, а *перевод* на современный французский язык (сделанный Ги де Перноном):

«Nous embrouillons nos idées avec les questions générales, les causes premières et la marche de l'univers».

Главное, конечно, не в правописании, правила которого менялись, важнее смысл: какие-то слова неизбежно утратили или отошли от того значения, которое они имели в 16-м веке, когда Монтень создавал свои «Опыты», и, видимо, переводчик действовал обдуманно, используя *embrouillons* (мы запутываем) вместо *empeschons* (мы мешаем, препятствуем). Пернон заменил *pensées* (мысли) на *idées* (идеи). Правомерно? Наблюдается значительная переделка в конце предложения: *des causes et conduittes universelles* стали более длинным *les causes premières et la marche de l'univers*. Не вдаваясь в долгие разбирательства, отмечу, что Монтень использовал прилагательное *universel* (в женском роде и множественном числе *universelles*) со значением *всеобщий, всемирный*, а в современном прочтении идёт речь о первопричинах (*les causes premières*) и о развитии, движении Вселенной. Конечно, *universel* (всеобщий) имеет тот же корень, что *l'univers* (мир, вселенная), и, вчитавшись и подумав, мы вроде бы улавливаем, для чего сделаны переделки, смысл высказывания проясняющие... Или мы не улавливаем? Или переделки (я чуть не сказал *глоссы*) мало что проясняют и безосновательны? Осмелюсь предположить, что дело здесь, по большому счёту, в авторе: он неточно выразился. Так бывает: мысль вспыхивает ярко в сознании, представляется чёткой, потом мы начинаем облекать её в слова, высказывая вслух или перенося на бумагу, но, как заметил поэт Тютчев, *мысль изречённая есть ложь*.

Отказавшись от более детального *сравнительного анализа*, отмечу, что в обоих вариантах по-французски говорится об общем (*général*), об общих вопросах (*questions générales*), и Монтень собирался, видимо, сказать, что мы задаёмся (обременяя себя, свою голову, свои мысли) общими вопросами, вопросами вселенского масштаба (тогда как полезнее вникать в частности и заниматься повседневным).

Существительное *general* с тем же корнем и почти тем же значением использовано в английском переводе:

«We occupy our thoughts about the general, and about universal causes and conducts».

Только с натяжкой можно утверждать, что *общее* в первоисточнике — то же самое, что *отвлечённости* в русском переводе. Хотя, надо признать, что перевод читается хорошо, фраза по-русски звучит осмысленно, и возникает естественное желание использовать её в качестве довода в своих рассуждениях.

Ещё одно замечание. В главе «Об опыте» Монтень в первых строках приводит стих на латыни:

Per varios usus artem experientia fecit,
Exemplo monstrante viam.

Выше я рассуждал о примечаниях и сносках, как полезных, так и вводящих в заблуждение; в данном случае в сноске нам в помощь приводится русский перевод: «Благодаря всевозможным пояскам опыт создал искусство, путь к которому указывают примеры».

Первый раз, пробежав глазами объяснение, я ничего не заметил, я не *споткнулся*. При написании очерка я читал «Опыты» внимательнее и обратил внимание на *пояски*. Что сие значит? Какому латинскому слову *пояски* соответствуют? Видимо, так переведено латинское *usus*... И, снова избегая слишком долгих объяснений, как и в случае с *отвлечённостями* Монтеня, скажу коротко: в перевод *вкралась* опечатка. Правильнее сказать: в редакции или в типографии допустили опечатку. Отказавшись от издания 1992 года, подготовленного московским издательством «Голос», я стал пользоваться другим изданием, где не *пояски*, а *поиски*. По написанию разница всего лишь в одну букву, по смыслу между *поясками* и *поисками*, как сказал один литературный персонаж, *дистанция огромного размера*.

Пояски вводят читателей в заблуждение, но многие не замечают опечатку или же, задумавшись, принимают её за некую игру слов, их пониманию недоступную. Даже восстановив *поиски*, мы должны признать, что русский перевод *примерно* соответствует первоисточнику. Латинское *usus* значит *использование, применение, употребление*. Его можно понимать как *обычай, обыкновение, привычка*. Или же как *опыт, навык, практика*. В двестишести идёт речь о различных применениях, о разнообразных употреблениях. А не о *всевозможных поисках*.

Приведу английский перевод, где для латинского *usus* использовано *proofs* (в значении *испытания, проверки, пробы*, что ближе к *опыту и практике*):

By several proofs experience art has made,
Example being guide.

В примечаниях к русскому изданию нам сообщают, что Монтень цитирует Марка Манилия, позаимствовав двестишести из его труда «Астрономика». Мне встречался старый русский перевод, но я не уверен, взят ли он напрямую из переводного Манилия или из давних переводов монтеневской книги; мысль о том, что опыт сотворил, создал искусство (искусство астрологии в данном случае) через различные применения, при этом

руководствуясь примерами (путь указующими), выражена здесь тем языком, на котором изъяснялись Ломоносов и Тредиаковский:

Употреблением опыт различным зиждет искусство:
Путь ему торит пример.

Мы сравниваем имеющиеся переводы, и возникает мысль, согласитесь, что надо бы перевести ещё раз, чтобы и ближе к оригиналу, и по-русски чтобы было гладко.

Выше задавался вопрос о том, можно ли считать пифагорейство детищем Пифагора? Сам Пифагор, мы не спорим, существовал, но его учение, в том виде, в каком оно дошло до нас, возможно, является соединением того, что говорил об учении Аристотель, с рассуждениями Филолая из Кротона. В поле нашего зрения только что попал Марк Манилий: высказывались и имеются сомнения в существовании реального человека с таким именем. Да, существует «Астрономика», кем-то, естественно, написанная, но, вероятно, её приписали несуществующей личности.

К чему я клоню? Наверно, к тому, что, встречая многочисленные неточности, недоработки, ошибки и опечатки в существующих справочниках, словарях и книгах, имея сомнения по поводу отдельных учений и авторов, нам следует призвать и усадить за работу новых историков, лингвистов, текстологов, литературоведов, справщиков (как называли на Руси людей, подготавливающих рукописи к печати), нужно привлечь к работе новое поколение лексикографов и толкователей...

Но я сомневаюсь, что всё будет выяснено до конца, всё будет проверено должным образом и избавлено от ошибок, и какой-либо современный дотошный исследователь докажет, что Пифагор говорил именно то, что дошло до нас через века в пересказах (и переводах). На маленьком примере, взяв всего одно предложение из «Опытов» Монтеня, я (надеюсь, убедительно) показал, что разные переводчики, начиная с французских, поразному поняли его рассуждения о склонности человека забивать себе голову общими вопросами (игнорируя при этом частности). Может быть, здесь даже лучше сказать, что мы обременяем себя вопросами вселенского масштаба, ищем первопричины и пути развития (вместо того, чтобы думать о насущном)... Не знаю. Если мы завязли в обсуждении одной фразы из Монтеня, застряли в переводе двух латинских строчек, под силу ли нам пересмотр всего, ранее написанного и напечатанного?

Особая трудность видится в том, что все прежние издания со всеми недоработками, со всеми толкованиями, вплоть до ложных, останутся в обращении. Вернусь к случаю с Арсением Глухим, который указал, что следует удалить из Требника прилог *и огнём* — из одной фразы, а именно из «Сам и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом твоим святым», где добавление в конце *огня* неуместно. Справщика обвинили в том, что он поднял руку на святое, его осудили и подвергли целому ряду истязаний, как сообщается в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, и: «После пытки в Вознесенском монастыре Арсений содержался в тяжком заключении на Кирилловском подворье». Прежние издания Требника продолжали использоваться, священнослужители продолжали употреблять прилог, пока не вышел указа Филарета вымарать его; кое-кто, как я подозреваю, вымарывать или заклеивать его не стал и проговаривал молитву *по привычному*. Если верить утверждению Арсения, вставка нелепой *гlossы* в основной текст была не единственной оплошностью прежних справщиков, ошибки были *тьмочисленные*. Предположим, мы сочли нужным вникнуть, дабы разобраться досконально в вопросе о тексте Требника, что там правильно, что неправильно, и прав ли был Арсений Глухой, обвинявший тогдашнее московское духовенство в *поразительном невежестве*. Никто не возьмётся сегодня за такой труд, никто и не справится со сличением всех русских изданий, и, главное, никто не обладает достаточными знаниями, чтобы определить,

правильно ли был переведён изначально Требник на *славянский язык* Кириллом и Мефодием в девятом веке.

Это относится и к другим книгам, к «Опытам» Монтеня, к «Астрономике» Манилия, к учебникам грамматики и к толковым словарям: мы неизбежно допустим новые ошибки и неточности, мы завязнем в опровержении предыдущих авторов, издателей, переводчиков и толкователей... Приведу мнение Монтеня по поводу *примечаний к примечаниям*, надеясь, что в этом случае русский перевод соответствует тому, что Монтень написал по-французски:

«Гораздо больше труда уходит на перетолкование толкований, чем на толкование самих вещей, и больше книг пишется о книгах, чем о каких-либо иных предметах; мы только и делаем, что составляем глоссы друг на друга.

Комментаторы повсюду так и кишат, а настоящих писателей — самая малость. <...> Мнения наши перерастают одно в другое: первое служит стеблем для второго, второе для третьего».

Монтень задолго до нас задавал вопрос, который приходит нам в голову: «Бывает ли, чтобы мы решили: для этой книги хватит, о ней уже всё сказано?»

Судя даже по тем примерам, которые я привёл, с обсуждением отдельных слов и небольших высказываний, с разбором коротких текстовых отрывков, со сравнением, как по разному переводилось и объяснялось то или иное место, мы отвечаем на поставленный вопрос: поскольку многие детали во всех книгах требуют уточнения или исправления, нельзя считать их безупречными, мы не станем утверждать, что *всё сказано* о трудах Платона, что полностью и окончательно исследованы и поняты «Опыты» Монтеня... Многие вопросы, говоря канцелярским языком, *не закрыты*. Даже в случае с Библией: появляются новые и новые переводы, тогда как, казалось бы, можно ограничиться каноническими текстами. И мы спорим... Передаю опять слово господину Монтеню: «Толкование старых текстов вызывает такие же острые и гневные споры, как появление новых трудов».

В спорах не рождается истина, по крайней мере, когда дело касается гуманитарных областей знания, где преобладают отвлечённости, так что, встречая сегодня множество новых, обстоятельных, подробнейших объяснений, что такое слово, например, или что такое язык, что такое истина, лично я соглашаюсь с французским мыслителем: «От множества толкований истина как бы раздробляется и рассеивается».

Если согласиться, если признать, что наши усилия по перетолковыванию уже существующих толкований лишь запутают и без того запутанное, может быть, действительно, перестанем заниматься переделками, обновлениями, улучшениями и усовершенствованиями, запретим сами себе писать на полях и между строк новые глоссы?

«Кто усомнится, что глоссы лишь увеличивают сомнения и невежество, когда никакие толкования не облегчили понимания ни одной написанной человеком или боговдохновенной книги, важной и нужной для всех? Сотый комментатор отсылает нас к своему продолжателю, а у того узел оказывается запутанным ещё сложнее и хитрее, чем у первого».

Признавая тщетность своих трудов и усилий, мы всё же не удовлетворяемся имеющимся и не успокаиваемся на достигнутом. Ибо: «Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечётся вперёд, не торопится, не встаёт на дыбы, не страдает, значит, он жив лишь наполовину. Его стремления не знают чёткой намеченной цели и строгих рамок, пища его — изумление перед миром, погоня за неизвестным, дерзновение».

Литература

- Ломоносов М. В. Российская грамматика. — М., 1755.
Монтень, Мишель. Опыты. Кн. 3-я. — М., 1991.
Тредиаковский В. К. Сочинения. Т. 3. — СПб., 1849.
A New Greek and English Lexicon. Boston, 1840.
Michel de Montaigne. Les Essais. Livre 3. Paris, 1595.
The Dialogues of Plato. Volume 1. London 1892.

References

- Lomonosov, Mikhail. Rossiiskaia grammatika [A Russian Grammar]. Moscow: 1755.
Monten, Mishel. Opyty [Les Essais]. Moscow: 1991.
Trediakovskii, Vasilii. Sochinenia, tom 3 [Complete works, vol. 3]. St-Petersburg: 1849.
A New Greek and English Lexicon. Boston, 1840.
Michel de Montaigne. Les Essais. Livre 3. Paris, 1595.
The Dialogues of Plato. Volume 1. London 1892.

How Will Our Word Resound?

Part 3

Vasilyev K. B.,
editor-in-chief, Avalon Publishers, St Petersburg

Abstract: The author of the essay, a linguist, continues to argue that a certain part of human statements, spoken, written or printed, reaches the listeners and readers in an inaccurate form, sometimes being distorted, changed or edited arbitrary by publishing editors using abridgements or insertions. Even some proverbs and popular quotations can be queries as to their correct spelling and meaning. In this part of his essay the author often appeals to “The Essays” of Michel de Montaigne quoting him and discussing his controversial assertion such as “glosses increase doubts and ignorance”. He provides an example from Russian history when a marginal remark made by a zealous priest was mistakenly transferred into the Prayer book and it was quite difficult to erase it in the later editions. The establishment of true authorship is also discussed as well as the accuracy of existing translations of classic texts including the Russian version of Montaigne’s Essays.

Keywords: word, Lomonosov’s Russian Grammar, Michel de Montaigne, Karamzin, learner and teacher, glosses, unit of speech, syllabification, speech culture, false/popular etymology, Prayer book, Arsenii Gluhoi.